МАСТЕРА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СЛОВА

Семен КУРИЛОВ

ХАНИДО И ХАЛЕРХА

Уран тыл уустара

Семен Курилов

Ханидо и Халерха

«Айар»

2009

ББК Ш9(2)6=Юк72-40

Курилов С. Н.

Ханидо и Халерха / С. Н. Курилов — «Айар», 2009 — (Уран тыл уустара)

ISBN 978-5-7696-3218-1

Роман Семена Курилова «Ханидо и Халерха» – первое крупное прозаическое произведение юкагирской литературы, получившее всесоюзное признание и переведенное на многие языки мира.События, описанные в романе, происходят на севере Якутии и охватывают период с конца прошлого века до 1915 г. Через судьбы героев – бедняков Ханидо и Халерхи – автор раскрывает судьбу своего народа, стремящегося к новой, светлой жизни. Образно и ярко воссоздает писатель не только быт северного человека, но и дух жизни, колорит времени.

ББК Ш9(2)6=Юк72-40

ISBN 978-5-7696-3218-1

© Курилов С. Н., 2009
© Айар, 2009

Содержание

Книга первая 5
ПРОЛОГ 5
ГЛАВА 1 9
ГЛАВА 2 15
ГЛАВА 3 25
ГЛАВА 4 38
ГЛАВА 5 51
ГЛАВА 6 64
ГЛАВА 7 78
ГЛАВА 8 92
Конец ознакомительного фрагмента. 101

Курилов Семен Николаевич
Ханидо и Халерха

Книга первая
ЛЮДИ «СРЕДНЕГО МИРА»

ПРОЛОГ

Суровая тундра простирается между сибирскими реками Индигиркой и Колымой. Суровы все тундры, но эта – озерная, самая северная. На что уж холоден Якутск, но он далеко на юге, на севере же – ледяное Восточно – Сибирское море; сам батюшко земной Полюс холода соседствует с этим краем – он рядом, в пятистах километрах. Если кто – нибудь говорит, что мороз в их местах – как огонь, а ветер – как нож, то он просто не знает, что такое мороз и ветер, – он не бывал зимой в колымской и алазейской тундрах…

Но край этот – вовсе не вымерзшая пустыня. Напротив, обжит он давно, очень и очень давно…

С высоты полета турбовинтового лайнера средь сотен озер не всякий заметит два, похожих на блюдца. Но стоит произнести слово – Улуро, как любой юкагир, ламут, чукча, якут прильнет к иллюминатору – если летит он, конечно, в летнюю пору. Озера Большое и Малое Улуро – это центр юкагирской тундры, их гордость и красота, их прошлое…

Наше повествование и начнется с прошлого юкагиров. Спустимся к этим озерам, перенесемся в те времена, когда одни только шаманы могли «летать» в «верхнем мире».

Люди, жившие возле Большого и Малого Улуро, назывались улуро – чи[1]. Они были под стать суровой природе и тяготам бытия. Улуро – чи – это алаи и эрбэчканы. Алаи – потомки юкагирского богатыря Идилвея, вошедшего в родовую легенду. Идилвей перепрыгивал реки и виски[2], догонял диких оленей и в половодье переносил на своей спине трех беременных женщин. А эрбэчканы – потомки мальчика Эрбэчкана, который будто бы родился в медвежьей берлоге, что, согласно преданию, в какой – то мере сроднило юкагиров с могучим медведем.

Улуро – чи были потомственными охотниками и рыбаками. Они умели по следу узнавать, голодный или сытый пробежал песец, в какую сторону уплыл косяк рыб. Это были несловоохотливые, а то и до немоты молчаливые, однако добрые и умные люди. Улуро – чи не рвали первых цветов, сберегали молодую траву, человека встречали по взгляду, а провожали по уму, они делились последним куском мяса и не знали, как можно просить еду, – кончалась оленина или юкола – шли в соседний тордох[3], брали без спроса, и никто за это не осуждал. Умными, добрыми были они, но и наивными. Не имея понятия о торговле, люди Улуро брали у купца не много, без жадности – плитку чаю да связку табаку – чтобы других охотников не обидеть, а отдавали ему все, что сумели добыть…

Места для рыболовства и охоты здесь благодатные. Озера большие: ширина каждого равна пятнадцати якутским беганиям, или полутора шаганиям, то есть пятнадцати километрам.

---

[1] Чи – люди.

[2] Виска – маленькая речка с болотистыми берегами (местное русское название).

[3] Тордох – жилье юкагиров.

Могучие штормы на этих озерах пугали даже чукчей, приезжавших сюда с морского побережья. Все люди тундры от матушки Колымы до сестренки Алазеи знали о богатстве Улуро – о знаменитой, вкуснейшей рыбе чир. Рыба эта славилась и в Средне – Колымске. А было ее в озерах до ужаса много. Из – за блеска чешуи небольшое тихое озерцо, окруженное высокими едомами[4], якуты называли «мешком с деньгами»: сюда, в Сыппай, по узкой протоке заплывала огромная масса чиров, спасавшихся от шторма. Чиры Улуро ценились дорого: приезжие чукчи за одну юколу отдавали лишний мах ремня из дорогой шкуры морского зверя, не жалели и клыков мамонта.

А вокруг озер, на болотистой равнине, поросшей тальниками, травой и мхом, обитало столько диких оленей и разного зверья, что каждый юкагир мог бы не думать об одежде и пище, жить да радоваться… Болота были сплошь покрыты морошкой; ее росло здесь так много, что один якут, подъезжая к стойбищу юкагиров, в испуге крикнул: «Земля горит!» Над озерами с суматошным криком носились целые тучи чаек…

В таком щедром крае жизнь юкагиров, однако, была далеко не счастливой. Как только выпадет снег, а лед на озерах огласит окрестности грохотом, трескаясь от жгучих морозов, на Улуро начинается нашествие купцов – русских, якутских, американских; приезжают сюда и богачи юкагиры, богачи чукчи, богачи якуты.

И не заметит рыбак и охотник, как чужие оленьи упряжки увезут по разным дорогам богатство, добытое ценой тяжкого труда, лишений, терпения. А как прожорливы шаманские духи! Правда, едят они не сами – они насыщаются через желудки шаманов, но ведь шаманы – люди, значит, насытить надо и духов, и самих шаманов вместе с их близкими…

Вот и голодает юкагир – охотник, юкагир – рыбак. Голодает тихо, терпеливо: лед на озере не прорубишь, чира не поймаешь, подстрелить оленя – пороха нет, да и холода стоят такие, что опасно уходить из стойбища. И идет юкагир в соседний тордох, чтобы взять немного юколы или оленины, идет, скрывая сосущую боль в животе. А особенно тяжело безоленному юкагиру – связан он по рукам и ногам.

Совсем иначе жили в те времена богачи. Не голодал знаменитый богач Тинальгин: в стадах у него оленей было больше, чем диких вокруг озер. В дни состязаний бегунов или погонщиков такие люди, как Тинальгин, старались перещеголять друг друга, выставляя призы. Нередко бывали состязания, когда на приз набиралось целое стадо оленей. Открыто прославляли свое богатство имущие: круглый год, до новых состязаний, вся тундра говорила о том, кто на сколько разбогател и кто выставил лучшие призы.

Даже места для стойбищ бедные и богатые выбирали разные. На сухом берегу Большого Улуро лето проводили обычно только богатые да оленные, расставляя белые, красивые тордохи. А у Малого размещались безоленные, бедные семьи. На берегу Большого Улуро происходили важные переговоры князей, купцов и казацких начальников, здесь собирался ясак.

Надо, однако, сказать, что богачи не притесняли бедных так, как притесняли русские помещики крепостных или «раскрепощенных». Жизнь здесь была иной.

…На Дальнем Севере в незапамятные времена родилась одна жестокая легенда о злосчастной судьбе жены и мужа. Вот эта легенда.

Пять лет бродил по тундре, по горным лесам и вдоль рек молодой парень; он обошел все стойбища в поисках невесты – но ни одна из девушек не откликнулась на зов его сердца. Отчаявшись, парень пришел к старушке и попросил предсказать ему будущее.

– Понравлюсь ли я когда – нибудь девушке? – спросил он.

– Конечно, – сказала старушка, – найдется, полюбит тебя. И поженитесь вы.

– А когда?

Старушка задумалась, усмехнулась.

---

[4] Едома – обрывистый высокий берег (местное русское слово).

– Я – старая женщина, – сказала она. – Но как бы ни состарились глаза женщины, они все равно хорошо видят мужчину. Когда – нибудь и кто – нибудь полюбит тебя…

Опечаленный, жалкий парень собрался уйти, но подумал, что старушка не поняла глубины его горя и шутит. И он рассказал ей о том, как старался в разных стойбищах показать свою силу, ловкость и доброту – как таскал вороха тальника родителям девушек, томил себя голодом, чтобы хорошо бегать, поднимал живых оленей, чтобы укрепить жилы, и как ни к чему это не привело: ни одна не полюбила его.

Старушка вновь усмехнулась – и вдруг указала на маленькую внучку, лежавшую в колыбели.

– Видишь – там девочка, – шутливо сказала она. – Ей – три луны. Вот подожди пятнадцать зим – и она станет твоей женой…

Парень вздрогнул, потом весь затрясся. Он вскочил, бросился к девочке – и ударил ее ножом.

– Чем пятнадцать лет ждать свое будущее – пусть его не будет совсем! – сказал он ошеломленной старушке. И исчез из тордоха.

Через пятнадцать лет, так и не найдя счастья, вернулся этот парень в родные места, вернулся человеком в годах – и начал думать о смерти. Но однажды к нему заглянула девушка – сирота, и он сразу же полюбил ее. Она согласилась стать его женою. В брачную ночь муж обнаружил шрам на теле жены.

– Ке, – спросил он. – Что это у тебя за морщинка здесь?

– Я не помню, но бабушка говорила, что, когда мне было всего три луны, парень ударил меня ножом… Не хотел ждать меня пятнадцать зим, не хотел далекого счастья…

– А как же ты выжила?

– Бабушка зашила рану оленьими жилами.

– Я, это был я! – крикнул муж, и тот самый нож, что пятнадцать лет назад вонзился в нежное тельце ребенка, снова сверкнул и окровавился снова…

Чукчи и юкагиры нескольких поколений задумывались над смыслом этой легенды. Однако мечта о счастье была пустой, и легенда в конце концов привела к неожиданным – к трагическим последствиям. Обвинение народа в жестокости – вот что видели в ней юкагиры. У чукчей между тем существовал обычай – старые, умирающие родители могли попросить детей убить их, и дети должны были исполнить их волю. Вот юкагиры и говорили: «Ваша эта легенда. У юкагиров нет такого обычая, и жестокости неоткуда взяться». Чукчи возражали им: «Да, но это – не месть, не жестокость, а воля каждого умирающего. А юкагиры – мстительные». И все – таки чукчи были вынуждены вспомнить еще одну легенду, в которой говорилось о том, как юкагир – охотник убил своего друга, не догадавшегося пригласить его на курение пахучей травы. И тогда произошла известная история – чукотско – юкагирская резня; легенды послужили поводом к ней. Чукчи, однако, напали первыми, и юкагиры, умирая, твердили: «Мы были правы. Пусть грех навсегда останется на вас». Поколебала такая уверенность чукчей, и они хотели остановить резню. Но юкагиры начали мстить: за каждого убитого сородича они убивали пятерых – по числу пальцев на одной руке. Умирая, чукчи тоже говорили: «Если бы вы были правы, то наших не убивали»…

Случай, происшедший в лето приезда на Колыму великого русского шамана Чери[5] – с чего и начнется наше повествование о судьбе Ханидо[6] и Халерхи[7], – внес ясность в происхождение легенды о парне, не захотевшем получить счастье в неопределенном будущем. Ныне обе упомянутые легенды считаются подлинно юкагирскими.

---

[5] Известного русского исследователя Черского народы Дальнего Севера считали шаманом.

[6] Мужское имя – Орленок.

[7] Женское имя – Чайка.

Если бы могли в те далекие времена юкагиры так – же, как ламуты, чукчи и якуты, понять и признать весь глубокий смысл легенды о жажде счастья!

Но народы эти жили в дикости и в беспросветной, как полярная ночь, темноте.

ГЛАВА 1

Этот летний день[8] не сулил ничего особенного – ни хорошего, ни плохого. Над горизонтом по синему небу плыло теплое солнце, ветер шевелил зеленую травку, над Малым Улуро – еще более синим, чем небо, спокойно кружились сытые чайки, лениво оглашая окрестность не тревожным и не радостным криком. Привычная жизнь протекала и в стойбище, что раскинулось на невысоком холме, у берега озера. Возле тордохов, у старой волчьей норы играли детишки, у вериц вешал для сетей и юкол хлопотали женщины, на берегу трудились мужчины, выгружая из узких веток[9] чиров или проверяя снасти.

Может, лишь у одного человека, у сгорбленного старика Хулархи, неспокойно было на сердце – у него тяжело болела жена. Однако болезнь ее была затяжной и тоже для всех привычной, да и сам старик чего только не пережил за свои годы – ко всему притерпелся и уж устал говорить о своих бедах.

Средь этого ясного дня вдруг случилось невероятное, даже неслыханное – как вгорячах показалось всем. Беда все – таки ворвалась в тордох Хулархи, но подкралась она совсем не с той стороны, откуда ждали ее.

Кособокий тордох Хулархи стоит на самой окраине стойбища, в пяти шагах от воды: так старику было удобней жить – далеко таскать рыбу, воду и снасти ему тяжело, да и следить за погодой на озере прямо из сэспэ[10] проще. Три луны назад бог послал ему дочь. Ради чего? Кто знает? Пути бога для юкагиров совсем неисповедимы – даже для сильных шаманов. Словом, старику при больной жене и малом ребенке нельзя было сидеть на месте. Вот и сегодня Хуларха рано уплыл на своей ветке, а к полудню уже подгонял ее к вешалам.

Когда ветка уткнулась в ил, старик с несбыточной, робкой надеждой глянул на свой тордох – не спешит ли ему на помощь жена, – глянул и почувствовал, как что – то холодное, неживое, вроде стального капкана, стиснуло лысую голову. Возле его жилья суматошно толпились люди; сквозь говор и крики он сразу различил плач – и в момент пожелтевшие губы его прошептали:

– Конец. Отошла. Померла…

Бормоча слова прощания со старухой женой, Хуларха медленно, тяжело поднимался к тордоху. Но знакомый пронзительный крик заставил его вздрогнуть и ускорить шаги. «Нет, помирает еще, меня, бедная, ждет…»

Старик ошибался. Случилось совсем иное – более страшное. В середине тордоха на пыжиковой пеленке ерзала, корчилась с ног до головы окровавленная Халерха, грудная, трехлунная дочь… Если бы не тордох, старик Хуларха, наверное, в ужасе пятился бы до самого озера – но сейчас он ткнулся спиною в жердь каркаса и оцепенело стоял с вытаращенными глазами, ничего не слыша и ничего не понимая.

Чьи – то руки скручивали нитку из жил, чьи – то другие прижигали иголку на красном мигающем огоньке лейки; шаман Сайрэ шевелил губами, встряхивал бубен – будто хотел что – то вытрясти из него; жена Чирэмэде ногтями царапала голову…

…В тордох приходил Эргэйуо. Это он сватал всех подряд девушек, он и ударил ножом ребенка, когда Чирэмэде пошутила: «Вон невеста твоя». Если бы вспомнила она ту легенду, которую слышала в детстве! Нет, не вспомнила. А все между тем шло точь – в – точь, как в легенде, – за исключением одного: Эргэйуо был глуповатым. Ох, нельзя с глупыми говорить всерьез. Если злые духи лишили ума – разве простые люди могут вернуть его! А Чирэмэде

[8] 1892 год.

[9] Ветка – лодка.

[10] Сэспэ – дверь.

давала ему советы – будто был он не придурковатым, а лишь озорным, несерьезным. И пошутила она, наверно, со злости: раз не поймешь, что счастья следует добиваться, то жди его зим пятнадцать, жди – и наверняка не дождешься…

С вечера до рассвета шаманы исступленно камланили в тордохе несчастной семьи – били до усталости в бубны, пели до хрипоты. А тем временем рану зашили, и измученная страданиями маленькая Халерха… нет, не умерла, а заснула.

Когда зашивавшие рану старухи плелись к озеру, чтобы вымыть руки, солнце уже показалось над тундрой. Вставало оно нынче как – то медленно и раздумчиво, едва прорезаясь сквозь синевато – серую дымку болотных туманов. Стойбище мало – помалу угомонилось. Люди ложились спать.

Ложились и не знали, что через час раздастся истошный крик на другом конце стойбища.

Все беды одним ремнем связаны, и никто не знает, какую за собой потянет первая. Коротка в тундре летняя ночь. Однако ее хватило, чтобы беременная жена Нявала, оставшись в потемках, пережила весь ужас кровавого случая и беды болезненной Чирэмэде. Рассвет успокоил ее – но потом она вдруг с криком свалилась на шкуры постели и стала рожать. А ходить ей надо было еще три луны. Недоношенный, полуживой мальчик едва дышал, у него даже не было сил сучить ногами – и Нявалу пришлось бежать за Шаманом.

После успешного ночного камлания Сайрэ заснул, как застреленный старый олень. Но вскочил он быстро, проворно – шаман ведь не должен уставать и мешкать. Правда, вид у него был ужасный. Маленький, как чукотский каргин[11], он спросонья подпоясался как попало, превратившись в связку старых истрепанных шкур, схватил бубен и, ковыляя кривыми ногами, побежал за Нявалом.

Однажды в молодости Сайрэ попытался разорить гнездо сокола. Он не верил, что птица может драться до смерти, охраняя свой дом. Полез – и чуть не остался без глаза: спасибо, сокол промахнулся – разодрал когтем лишь щеку. С тех пор правый глаз у Сайрэ навсегда остался стянутым шрамом. Сейчас, однако, не раскрывался и левый, залепленный смагой, – и было непонятно, как старичок видит дорогу. Морщинистый, смуглый, сопливый да еще кривоглазый и кривоногий – таким был Сайрэ. Но все это не имело никакого значения – старичок обладал огромной силой внушения, был известным шаманом, он не раз отгонял от людей болезни и спасал их от смерти. Ведь жива Халерха – дочь Хулархи, жива, дышит!.. Нявал понес бы Сайрэ на руках, бросился бы с ним вплавь через озеро, сделал бы для него все, что мог: у него умирал сын.

Между тем Сайрэ вовсе не безразлично ковылял за Нявалом. Он думал, думал напряженно, трезво и тщательно, зная наперед, что о нем теперь шумно заговорят не в одном стойбище. И ему не надо было глядеть на дорогу – он узнавал ее по звуку шагов Нявала.

– Так, я кое – что вчера уже видел, – сказал он, войдя в тордох и ударив кулачком в бубен. – Чьи – то жестокие духи поселились в нашем несчастном стойбище.

Камлание началось. Но оно проходило совсем не так, как в тордохе старика Хулархи. Призвав на помощь всех своих духов и побывав под причитания и грохот бубна в «верхнем мире», Сайрэ, не успев отдышаться, стал отдавать срочные приказания. Он объявил, что спасать надо не только мальчика, а сразу обоих детей – иначе ничего не получится. А для этого нужно насытить духов – собрать всю юколу в стойбище, всю – чтобы духи не обнаружили людской жадности. Он, Сайрэ, будет съедать ее, и чем скорее и больше окажется ее в желудке, тем скорее и уверенней станут действовать духи. Но это не все. Надо сейчас же распороть брюхо собаке – сучке, а кобеля удушить в колыбели, завернув в пыжиковую пеленку; потом нужно заколотить их в ящики, зарыть по отдельности в землю и могилы обозначить жердями.

[11] Каргин – порода низкорослых чукотских оленей.

Жуя юколу и жадно запивая ее сырой рыбьей кровью, Сайрэ стал рассказывать, что он узнал, поднявшись над «средним миром».

– Следы духов Мельгайвача я видел. Да, Мельгайвача. Это он испортил парнишку Эргэйуо, и он поднял руку с ножом…

– Хайче![12] Что ему надо от нас! – не удержался молчаливый Нявал. – И моего сына тоже выкинул он?

– Постой. Тут все не так просто, – сказал Сайрэ. – Ох, Нявал… Устал я, наверно, или мои медведи устали. Проглядел я большую стаю чукотских духов, а они давно рыщут в нашем стойбище. Чукотский шаман больше меня знал, дальше видел. Он знал наперед, кто у кого родится и кем станет каждый ребенок… Но вы закройте все щели, чтобы свет в тордох не пробрался и чтоб не услышали моих слов духи – сплетники. Я расскажу очень многое…

Пока мужчины поправляли тордох, затыкая шкурами и травой каждую дырку, и пока другие мужчины убивали собак, стойбище уже облетел слух о том, что шаман Сайрэ узнал важные новости. И очень быстро в жилище Нявала стало невыносимо тесно.

– …Я поднялся над облаками, чтобы бог поглядел в мою сторону, – начал рассказ Сайрэ, не переставая глотать юколу. – И когда бог, прищурив глаза, обвел взглядом наш средний мир, я вытянулся, как аркан, и схватил свет его взгляда. Потом сразу бросился в нижний мир – и там, освещая путь светом божьего взгляда, быстро нашел одного всезнающего, но одряхлевшего духа. Я поймал его за выпученный глаз, заставил пищать и отвечать на мои вопросы. О, много следов оставили чукотские духи – да только я лишь нынешней ночью заметил что – то неладное. А сегодня дух, которого я прижал, указал начало следов… Мельгайвач давно бродит в наших тордохах: у одного унесет иголку, у другого разобьет чашку, третьего ума лишит и заставит делать ненужное дело. Даже комаров напускал на детей, чтобы они заболели…

– Правда, правда! – закричал вдруг Пурама. – Мой сын вчера разбил большую кружку, которую подарил мне купец Потонча. Сирайкан[13] Мельгайвач! Где я возьму теперь кружку? – Пожилой, узколицый Пурама завертелся, заерзал – и даже в потемках было заметно, как зло сверкают его острые глазки.

– А я дней семь назад иголку последнюю потеряла, – тоже засуетилась в углу старуха Лэмбукиэ. – Перерыла весь мусор в тордохе – и не нашла. Как будто сама проглотила… Верно сказал ты, Пурама: сирайкан Мельгайвач. А только чего ж это наши шаманы, как спящие собаки, не чуют его.

– Перестань! – цыкнул на нее муж. – Ум потеряла. – Он не сдержался и стукнул жену ладонью по рукаву.

– Ты что меня бьешь! – вспыхнула горячая и болтливая Лэмбукиэ. – Олень ты дряхлый.

– Кто бьет? Я же крещусь! – солгал старик. – Ослепла ты, что ль…

– Шаманы наши ослепли, а я…

Люди зашевелились; недобрый шепот заставил Лэмбукиэ замолчать.

– Грех – то какой!

– Не мой грех.

– И не мой…

Открылись полы ровдуги[14], ворвался свет – и старик вытащил свою Лэмбукиэ из тордоха.

– Не ругайте ее, – спокойно сказал Сайрэ. – Не по своей воле она так говорит. Чукотские духи вселились в ее голову. Они так хорошо вскормлены, что лишают ума даже при мне. А что я сделать могу – ослабли духи мои…

– Нельзя, чтобы духи твои голодали! – раздался голос. – Мы не враги себе.

---

[12] Хайче – дедушка.

[13] Сирайкан – сволочь.

[14] Ровдуга – внутреннее покрытие каркаса тордоха.

– Правильно, – поддержал лучший бегун Хурул – младший брат Хулархи. – Мы даже готовы половину добычи отдавать им. Мельгайвач и сам богатый, и чукчи не жалеют для него ничего. А мы?

– Ладно, ладно, дети мои, – сказал Сайрэ. – Сперва сами разбогатейте: впереди зима. Нужно больше рыбы ловить да сушить. А моим духам много не надо: кто сколько может. Себя не забывайте, обедневшие дети мои… Но я еще не сказал вам самое главное. Мельгайвач напал на следы Пайпэткэ. Напал легко, потому что она грешна. Все ведь знают, что она вышивала бисером кисет Потонче, играла с ним в тальниках и опозорила своих умерших родителей. А потом и с самим Мельгайвачом пасла оленей… Вот и разгадал чукотский шаман по этим следам одну тайну, которую знал только бог. А бог хотел послать ослабшим и обедневшим юкагирам мальчика, который должен был стать самым сильным, самым смелым и умным человеком в тундре. Он и имя ему уже дал – Ханидо. И был бы этот человек таким же, как Идилвей и Эрбэчкан. От его голоса трещал бы лед на озерах, одним взглядом он зажигал бы огонь. Не хотел Мельгайвач примириться с этим. Вот он и нашел этого мальчика в доме Нявала. А чтобы запутать следы, он сперва вселился в душу Эргэйуо, пролил кровь Халерхи и заставил жену Нявала с испуга скинуть ребенка…

– Сирайкан!

– Кровь ему надо сгноить! Напустить на него всех духов…

– Пайпэткэ сперва наказать надо. И она сирайкан, – твердо и зло сказал Пурама.

– Ну – ну – ну, – успокоил людей шаман. – Тут надо не злостью брать, а умом. Нужно так сделать, чтобы враг, умирая, не проклинал нас, а осознал нашу силу и ненависть превратил в уважение к силе… И с Пайпэткэ нельзя жестоко поступать, Пурама. Добром ее отучивать надо. А лучше всего – спрятать в надежном тордохе.

– В каком? – поднялась с пола старая Тачана. – Ты, хайче, и скажи. А у меня ей больше не жить. Хватит!

Сайрэ, однако, не мог ответить: он как раз откусил огромный кусок юколы. И чтобы люди поняли это, он стал медленно, громко чавкать.

А страсти горели – и сама Тачана предложила:

– Я хоть шаманка слабая и давно не камлаю, а поверьте мне: с умом ее может справиться только шаман – мужчина.

– А почему бы не попросить хайче Сайрэ, чтобы он сам присмотрел за ней? – спросил до сих пор молчавший Лан – га, лучший сказитель стойбища. – Наши ошибки могут дорого обойтись. Когда льется кровь, тут все надо делать надежно.

– Это самое верное, – вдруг подал голос молчун старик Хулархa, неизвестно когда и как появившийся в этом тордохе.

– Пусть переходит, – согласилась, недолго думая, Тачана. – Ты, Ланга, умный даешь совет. Как живет наш Сайрэ? Жена умерла давно, а ему вода нужна, огонь в очаге поддерживать надо. Пора и жениться хайче. Пусть только с умом ее совладает!

– Да с умом Пайпэткэ я бы справился, – вздохнул шаман – старикашка. – Но жениться… Нет. Надо разрешение просить у дяди ее, выкуп давать. А что у меня есть? Ничего…

– Ну это уже не беда, – ответил Хурул. – Кто не поможет? Каждый поможет.

– Завтра пусть она и идет, – отрезал вдруг смягчившийся Пурама. – А сопротивляться начнет – духов на нее напустить.

– Ладно, ладно, – сказал шаман. – Это не главное. Не обо мне забота сейчас. Собаки визжали – я слышал. Все должны держать это в тайне. Когда чукчи сюда приедут зимой – пусть думают, что обоих детей мы схоронили. Так мы обманем Мельгайвача, перепутаем ему все до конца. И мальчика назовем не Ханидо, а Косчэ[15]. Девочка же пусть Халерхой и останется.

[15] Косчэ – от русского имени Костя.

Сайрэ развел полы ровдуги, впустил солнечный свет. Это означало, что камлание кончилось.

День был в разгаре. Как и вчера, тепло и ярко светило солнце, над озером так же спокойно кружили успевшие насытиться чайки. Выходя из тордоха Нявала, люди жмурились, потом осматривались по сторонам – точно стойбище и сама земля могли как – то перемениться за эти сутки. Нет, погода была веселой, небо не почернело, все оставалось на месте. Предсказания шамана тоже сулили добро. И все – таки люди разбредались по стойбищу хмурыми, растревоженными.

В разговорах и пересудах, в хлопотах, накопившихся за две зари, остаток длинного летнего дня проскочил быстро и незаметно.

Сайрэ будто глядел в чистую воду Улуро: вечер принес хорошие вести. Девочка Халерха спокойно дышала, не кричала, не корчилась – словно кто – то подсказывал ей, что надо терпеть – иначе хлынет последняя кровь; она не горела огнем и не остывала. А Косчэ – Ханидо, напротив, громко кричал, но этот крик мог только радовать… И в стойбище уже шли разговоры о будущем несчастнорожденных. Из Косчэ теперь не вырастет богатырь, наподобие Идилвея и Эрбэчкана, но он всегда будет помнить людские заботы и уж не сможет мириться со злом. И терпеливой, хорошей будет его жена Халерха… Говорили об этом в каждом тордохе. Говорили до тех пор, пока не заметили, что над тундрой низко стоит угрюмое, красное солнце и что вода в Малом Улуро блестит, как свежая кровь.

И сам воздух вдруг стал тревожным. В жестком негреющем свете тревожным стало казаться все – и толчея комариных туч, и длинные тени от тордохов, обрывов, бугров, от тальников, жердей и даже травы. И без того страшная озерная гладь стала доносить то непонятный всплеск рыбы, то с потемневших берегов звериный стон, рев или храпенье, которые вроде бы и не походили на звериные голоса… Беды – как стая волков: оставишь их позади и уж забудешь о них, а глянешь – впереди сидит матерый вожак, сидит, будто из – под земли выскочил… Притихло стойбище, как – то насторожилось. Смолкли громкие голоса, совсем исчезли с берега люди; появится между тордохами человек – и побыстрей скроется, выползет на четвереньках старик из – под полы ровдуги, оглядится по сторонам – и юркнет обратно, и нет его. Всех детей уложили спать… Не вернулся из тундры бешеный Эргэйуо. Где он? Что делает? И когда вернется? А если вернется тайком – что может сделать еще? Не спят, конечно, вступившие так неожиданно в схватку шаманы Мельгайвач и Сайрэ. И никто не знает, что происходит кругом. Сайрэ вдоволь насытил духов своих. Но разве покинули стойбище духи Мельгайвача? И не ждут ли они возвращения Эргэйуо?

В тревоге и не для того, чтобы сразу уснуть, забирались люди под одеяла – шкуры. А из тордохов Хулархи, Нявала и родных Эргэйуо густо валил дым: там и не собирались спать.

И только одна женщина во всем стойбище в этот вечер совсем не думала ни о каких духах. Это была племянница Амунтэгэ, неродная дочь Тачаны – Пайпэткэ. Она думала о себе и ни о ком больше.

Укрыв одеялом ноги, Пайпэткэ сидела, тупо глядя на затухавшие угольки очага. Она не плакала и не всхлипывала, но из ее маленьких, широко раскрытых глаз то и дело выкатывались слезы. Капли не оставляли на лице следов, но, падая на оленью шкуру, они повисали на щетинках и в свете очага горели красными огоньками – точь – в – точь, как бисеринки, которыми она вышивала кисет купцу По – тонче. Пайпэткэ то и дело пыталась ухватить их пальцами, но они исчезали…

Амунтэгэ долго не появлялся в тордохе, а когда зашел, Пайпэткэ тихо сказала – нет, не ему, а так просто – самой себе:

– …Ни подарков мне, ничего. Обноски умершей старухи, линялые шкуры… Другие сироты счастливей. И чем виновата я?..

– Не ты виновата, – ответил дядя. – Духи виноваты во всем. – И опять выбрался из тордоха.

А старая Тачана стала шумно сопеть и ворочаться на шкурах – подстилках. Ей не терпелось опять накинуться на ненавистную полоумную потаскушку, из – за которой в стойбище случилось столько несчастий. Но она боялась проговориться.

Если бы Пайпэткэ знала всю правду, знала бы то, что происходило утром в тордохе Нявала! Разве сидела б она вот так, без движения, разве бы плакала тихо и долго? У самых забитых сирот есть тоже предел терпенью – а вечер был нехороший, красный, тревожный, и, наверно, случилось бы то, что люди стойбища ждали: сирота Пайпэткэ была способна на все.

Но Пайпэткэ ничего не знала. И не случилось третьей беды ни длинным предветренным вечером, ни короткой ветреной ночью.

ГЛАВА 2

Напрасно люди стойбища у Малого Улуро старались не выдать тайну. Неправда плавает поверху, как жир на воде. Весть о случившемся быстро облетела и колымскую, и алазейскую тундру. Да как скроешь правду: приезжий увидит могилки, расспросит, вздохнет – но дети – то живы, и покинет он стойбище с хитрой усмешкой.

К осени слух дошел и до яранги[16] Мельгайвача. И чукотский шаман без промедления передал с попутчиком слова жестокой обиды на шамана Сайрэ. Убить двух собак, схоронить их на видном месте, да еще обозначить жердями – это Мельгайвач принял как вызов.

Людям же стойбища послание показалось угрозой. А Сайрэ вскипел, как горячий жир от капли воды.

– Вертлявый чукча, вертлявый обманщик! – сказал он, проводив заезжего человека.

У Сайрэ как раз пил чай Пурама.

– За старое принимается, видно, – заметил он. – Надо глядеть.

– Всех людей тундры этот хищник может испортить. Нужно ехать к Каке. Пусть Кака одернет его. У тебя, Пурама, остался единственный брат. И если поехал бы ты, то Мельгайвач уж ни тебя не тронул, ни Умукана: слишком прямые следы бы оставил.

– Да, это верно, – насторожился и одновременно удивился уму шамана охотник. – Хорошо, я поеду.

Осень в этот год выдалась ранней. К покрову все озера и болота уже замерзли и люди оделись в кухлянки. Ранний крепкий мороз – большая радость: скорее можно ездить в любом направлении, легче добывать побелевших песцов и диких оленей, да и просто дышать приятно… Олени Пурамы шли ходко, но в дороге от встречного каюра он узнал, что не туда едет: чукотский голова, богач и шаман Кака отправились по делам к Мельгайвачу, в стойбище на речке Коньковой. И Пурама повернул упряжку.

Не знал посыльный Сайрэ, что туда же, к Мельгайвачу, с двух противоположных направлений выехали еще две упряжки – одна купца Потончи, другая юкагирского головы Куриля. Если бы знал он все это, то уж постарался бы примчаться первым, тем более что ездок он был наилучший. Нет, Пурама решил дать передышку оленям и потому сильно опаздывал к разговорам, которые не всякому довелось бы услышать.

Апанаа Куриль ехал к богатейшему человеку, к шаману Мельгайвачу по важному делу. Он задумал пораньше отправить в город оленей – голов пятьсот или шестьсот – для продажи купцам. Но стада его паслись далеко в тундре, а Мельгайвач обосновался ближе к городу, и Куриль хотел взять у него оленей взаймы – чтоб сократить прогон; зимой он возвратит ему долг. В таких делах шаман не отказывал ни ему, ни Каке, ни другим богачам. Но сейчас Куриль сомневался. История с детьми на Малом Улуро и камлание Сайрэ, по слухам, крепко задели Мельгайвача, и теперь неизвестно, как он себя поведет.

Головой юкагиров Апанаа Куриль стал и случайно, и не случайно. Когда – то он имел всего одну важенку[17]. Но через шесть лет у него стало семь оленей: приплод Куриль берег, как детей, хоть и терпел нужду. Из уважения к такому хозяину люди подарили ему еще трех или четырех телят, подарили и несколько взрослых оленей. Стадо росло; в тридцать лет он нанял пастухов и вместе с ними уходил в тундру. Жил с пастухами Куриль на равных правах: ел вместе с ними, пас, переносил голод и холод. А потом один из его пастухов на состязаниях гонщиков выиграл половину стада ламутского[18] богача Омката. Стада соединили, и две зимы хозя-

[16] Яранга – жилище чукчей.

[17] Важенка – самка – олень.

[18] Ламуты – старое русское и якутское название народности эвенов.

ева жили в достатке и дружбе. Богатство испортило многих людей тундры, и неизвестно, как переменился бы Куриль при дележке и после нее. Но тут произошел еще один удивительный случай. Богач с Колымы назначил в Большом Улуро состязания гонщиков на двадцать якутских шаганий и выставил приз – огромный табун оленей. Тот же самый пастух сел в упряжку и выиграл этот табун. Выиграл – и от радости умер. Был пастух сиротой. Судили – рядили: что делать? Наконец решили передать оленей его товарищу, Курилю.

Так Апанаа Куриль, еще не забыв тягот пастушьей жизни, стал богачом. И может быть, поэтому он оказался добрым, чутким к людской беде. Чтобы сытно жить, к нему охотно шли молодые и опытные пастухи, и стадо его, теперь состоявшее не из чукотских каргинов, а из добрых ламутских оленей, росло, множилось, хорошело. Куриль каждой семье забивал оленя на одежду и питание, помогал даже якутским беднякам, которые носили дохи по шесть – семь лет, пока вся шерсть не вылезет. Пожилых юкагиров он не гонял по тундре, он велел им жить у озера и ловить рыбу. Очень нравилось Курилю, когда о нем хорошо отзывались: он от этого еще больше добрел, хотя, конечно, знал доброте меру.

Слава о преуспевающем богаче, об умном хозяине и почитаемом человеке распространилась по всему краю. И вот из Якутска пришла бумага от большого начальника, в которой говорилось, что он, Апанаа Куриль, назначается головой юкагиров. Не поняв, зачем это сделано и что это значит, Куриль помчался в город.

– Что мне делать как голове юкагирскому? – спросил он у исправника. – Товары, что ль, продавать или следить за шаманами?

– Ясак будет платить твоя тундра, – ответил исправник. – А ты следить должен. И князьев назначать можешь. А кроме этого – делай, что хочешь…

И получил голова печать. Эта чудная штучка, оставлявшая круглый рисунок с буквами и орлом, привела Куриля в восторг. Приехав домой, он стал лепить пометки на чем попало: дарил кирпич чая – ставил печать, разглядывал шкуры – с гордостью проштемпелевывал каждую, даже свою драгоценную березовую палку изрисовал орлами… Никто, однако, над ним не смеялся: Куриль вошел в большой мир.

Затем произошел случай, надолго прославивший его как голову. Узнал Куриль, что исправник Друскин грубо обращался с ламутскими людьми, – и пожаловался в Якутск. Друскин перепугался, пригласил его к себе и хотел напоить горькой водой. Но Куриль пить не стал. «Водка не смоет гнев людей, а уважение ко мне смоет», – сказал он и уехал. И Друскин притих.

Богачи завидовали Курилю. Потому что тот, кто близко стоит к начальству, много знает, далеко видит, а в делах это очень важно. Часто спрашивали его: что надо, чтоб стать головой? Он не знал. Но отвечал уверенно, как думал: «Сколько хочешь имей оленей, а будешь жестоким и жадным – головой не станешь». И не нашлось такого богача, который захотел бы отобрать у него печать…

Уважение к Курилю, как к человеку особенному, росло. Признали его ум богачи Тинальгин, Чайгуургин, Тинель – кут, известный якутский купец Мамахан, русские купцы, даже хитрый американец Томпсон.

Став настоящим царем тундры, Апанаа Куриль, однако, не мог постичь двух вещей – грамоты и шаманства. Ну, грамоту он оставил сразу – решил надеяться на ум и язык. А вот вера не в бога Христа, а во что – то иное – в духов, подчиненных воле людей, в способности видеть незримый мир, – это было для него неразрешимой загадкой с самого детства. Правда, став головой, он решил освободить себя от таких мук. С расчетом на то, что слова его разбегутся по тундре, он нашел случай сказать: «Я не был и никогда не буду шаманом. Но если захочу, то без вдохновения и без бубна испорчу кого угодно. Особенно самих шаманов. Пусть тронут меня – я их отвезу в Якутск, а там русские боголюди быстро справятся с ними». Шаманы испугались угрозы, а Сайрэ даже видел потом во сне мир боголюдей, которые тоже предупредили его. Взял Куриль верх над шаманами – но на душе у него было все так же.

Вот и сегодня, выехав к Мельгайвачу, он ломал себе голову: мог или не мог чукча – шаман за десятки якутских шаганий испортить людей?[19] Это имело значение и для деловых разговоров, и для его жизни и действий как головы: юкагиры стали коситься на чукчей… Путь был долгим, и Куриль отдался раздумью.

Шаман Мельгайвач – богатей из всех богатеев. Оленей у него в два раза больше, чем у знаменитого Тинальгина, и даже сам голова чукчей Кака иногда берет у него по нескольку оленей без отдачи – у Мельгайвача не убудет.

Разными были слухи о том, как разбогател Мельгайвач. Одни говорили, что будто бы он с помощью духов загнал к себе огромное стадо диких оленей, другие будто бы видели, как от стад богачей сами собой отделялись мелкие табунки и переходили в стадо шамана. Однажды Кака прямо сказал ему:

– Если не прекратишь эти проделки – я сам нападу на тебя. Мои духи тоже не слабые.

Мельгайвач лишь усмехнулся на это:

– Да никакой я не шаман. Всегда и всем говорю: не шаман я. Давно бы сжег бубны, да боюсь, духи накажут; А шаманю так, для души.

Но ни Кака, ни другие шаманы, ни богачи и ни простые люди не верили этому. Считали уловкой, смелее которой и придумать нельзя.

Это был низкорослый, толстенький мужчина лет сорока. На его круглом и розовом, как выспевающая морошка, лице до сих пор не обозначилось ни единой морщины. Красивый, гладенький, чистый, он обворожительно улыбался, показывая снежно – белые зубы, блестевшие, как пуговицы на шинели городского начальника; эта улыбка почти не сходила с его лица. Мельгайвач был доволен всем на свете. Однако приятная внешность и добрая улыбка его обманывали далеко не всех. Юкагирские, ламутские и даже якутские и чукотские шаманы и побаивались его, и не любили. Никто из них не напускал на него духов, но все говорили одно и то же: горностай красивый – а хищник, хищники все красивые. И правда, доброта толстенького шамана была дьявольской. Заманит он человека улыбками и вниманием – а выпустит кумаланом[20]. Впрочем, «создавал» Мельгайвача не один хитрый дьявол – «участвовал» в этом и бог. Вот бог – то и наградил его огромными ручищами с толстыми ухватистыми пальцами – как бы предупреждая: не попадись! Но попадались, многие попадались. Люди знали, откуда появилось выражение «шаманская рука», но шли к нему и просили помочь… Не боялись шамана – чукчу одни колымские да якутские купцы. Они смело с ним торговали, подолгу гостили у него, поили горькой водой и спали с его молодыми женами. И еще не боялись его двое – чукотский голова Кака и юкагирский – Куриль.

…Дружное фырканье оленей и громкие голоса подсказали Мельгайвачу, что к его яранге подъехали сразу две упряжки и что сблизились они только сейчас, а не в тундре. Шаман ждал гостей уже несколько дней. Он безошибочно знал, о чем, о каких делах с кем придется говорить. Догадаться было нетрудно. Из яранги он вышел с обычной довольной улыбкой на лице, но сразу заботливо посерьезнел – и бросился распрягать оленей Куриля. Один из его пастухов в это время бежал к упряжке Каки. Поздоровались между делом, как старые знакомые.

А в яранге уже хлопотали жены Мельгайвача. Жарче загорелся огонь под треногой, загремела посуда. День уже стал угасать, и самое время было поесть и выпить.

Куриль, Кака и хозяин подсели к огню и, не дожидаясь, пока приготовится мясо, разлили водку по кружкам. Выпили, стали закусывать строганиной, юколой, холодным мясом.

---

[19] Есть указания на «необъяснимые» способности «сильных» шаманов – чукчей воздействовать на явления на расстоянии (см. В. Г. Тан – Богораз. Чукчи).

[20] Кумалан – нищий.

– Хорошее место выбрал ты, Мельгайвач, – сказал для начала Куриль. – Дрова есть, подтопить можно[21].

– Огонь мне не нужен. Тепла от людей не хватает, – ответил шаман. – Плохо жить я стал, Апанаа. Одун – чи[22], слыхал я, начали ненавидеть меня, сородичи стали бояться. Никто не заезжает ко мне… Еще летом заметил это, а теперь и узнал причину. Ты бы, Куриль, унял своего Сайрэ. Сказал бы ему, что я никто. Зачем ему распускать обо мне злые слухи. Он великий шаман, а не я.

– А! Вечно грызетесь, – ответил Куриль. – Грызетесь, а не беднеете…

– Да как же, Апанаа, победнеешь? Сам посуди. Стали меня люди бояться, и никто ничего не просит. Раньше приходили – дай, Мельгайвач, оленя – один остался, резать жалко. Давал. А теперь не просят, ну, стадо – то и растет…

– Значит, и так хорошо, и этак неплохо?

С юкагирским головой не разболтаешься. Отсечет – и даже такой говорун, как Мельгайвач, почешет затылок: что же сказать – то в ответ?

Алайский юкагир, Куриль тоже невысок ростом и толст, и лет ему столько же, сколько шаману – чукче. Но больше ничего общего у него с ним нет. Куриль уже поседел, а на темени обозначилась лысина. Лицо у него скуластое, белое, как у женщины – ламутки; широко открытые глаза никогда не улыбаются – если же он сощурит их раз в год, то это значит, что он смеется. Губы у Куриля сомкнуты строго, а когда говорит – слова получаются четкими, будто обрубленными. Да и говорит он звонким басом… Сейчас он почувствовал, что разговор неожиданно быстро склонился в его пользу: раз у Мельгайвача стадо растет, то что ему стоит отделить взаймы полтысячи штук? К тому же Кака, наверно, тоже будет просить, и его надо опередить. Однако как же тогда улаживать склоку? В благодарность за уступку надо будет говорить мягко, но разве такую грызню мягкими словами рассудишь? И сказать нужно сегодня, а не потом. Потому что дело к зиме – Мельгайвач же может распустить такие слухи, что чукчи не покажутся в стойбищах на Улуро, а это ему, голове юкагиров, вовсе не безразлично. Еще в пути Куриль понял, что эта грызня к хорошему не приведет. И он, не дав шаману опомниться, пробасил:

– Путь к богатству ты выбрал умно. Только людей съедать, пакостить – это не дело.

– Куриль! Апанаа! Какие грешные слова ты говоришь мне, безбожному… Кака, зачем же мне такие обиды сносить. Скажи хоть слово… – Мельгайвач обхватил голову своими огромными лапами – и вдруг заплакал.

А Кака между тем уже не сидел с ним рядом. Осушив кружку и дожевывая кусок холодной и жирной оленины, он заполз под открытый, недоделанный полог. Туда, под полог, забралась немного раньше младшая жена шамана, решившая не мешать старшей жене.

– Ну – ну, заплакал… – передразнил Кака. – Кому слезы – то приготовил. Нам? Говорят, каждая слеза из твоих глаз – это пригоршня слез твоих будущих жертв.

Разговор Кака слушал внимательно. Он догадывался, что Куриль будет просить у шамана оленей, но сам он тоже приехал за этим – ему тоже надо бы взять взаймы голов пятьсот или больше. Нападение же Куриля он воспринял как умный шаг: Мельгайвача и в самом деле иногда следует приструнить перед деловым разговором. А кроме того, он не мог в присутствии головы юкагиров не выговорить шаману: слухи давно ходят по тундре, совсем уж плохие слухи. Был Кака высоким и дюжим, на его смуглом до черноты лице сурово поблескивали белки глаз, а на круглой голове торчали жесткие черные волосы. Мельгайвач побаивался его как человека злого и сильного, а как начальника, богача и шамана ни во что не ставил. Но когда нападают двое, и свой и чужой, – тут слезами ничего не докажешь.

---

[21] Чукчи зимой обычно не топят – спят под пологами.

[22] Одун – чи – самоназвание юкагиров.

– Ладно, – сказал шаман, вдруг перестав плакать. – Называйте меня и хищным, и жадным. Но я детям хочу только добра. Если бы я действительно был шаманом, то столько раз сохранил бы им жизнь, сколько детей родится в одно поколение. Вот умру – на кого будете вместе с Сайрэ вину сваливать? Без меня несчастий не будет?

Куриль прищурил глаза:

– А ты мне ответь. Как это так, чтобы никто не хотел умертвить детей? Скажи, как это может быть?

Оба они замолчали, приперев друг друга вопросами. Но Кака знал ответ на один из них и сказал:

– Умрешь, а духи твои перейдут к кому – то другому. Не кривляйся ты, Мельгайвач: шаман ты, великий шаман, и пакостить любишь. – Он выплюнул шерсть, попавшую в рот от слишком пушистого одеяла.

– Значит, и в том мире я буду знать, что люди меня проклинают? – Шаман опустил голову и неопределенно уставился взглядом в пустую кружку. – Живьем мне, что ли, сжечься, чтоб облегчить свою участь…

– Не трогай больше детей, – сказал Куриль, наливая ему горькой зеленой воды. – Живы они – и Косчэ и Халерха. Но ты их не трогай. Это тебе и Кака скажет.

– Почему Косчэ? Пусть Ханидо и будет, как назвал Сайрэ, – задумчиво проговорил Мельгайвач. – А парень тот в речку бросился? Утонул?

Не ответив, Куриль тоже задумчиво предложил:

– А Кака может в Улуро съездить? Со мной. Сайрэ успокоить бы надо.

– Без толку это, – лениво ответил Кака, обнимая жену шамана. – Он детей не тронет теперь, но за это других сожрет. Знаю его… Поехать можно – если он пятьсот оленей мне даст.

Мельгайвач взял в лапу кружку, покрутил ее и, когда водка завертелась, как бурун в протоке, выпил, обтер губы, потянулся за куском оленины.

– А тебе, Куриль, тоже, наверно, охота по теплу продать в городе стадо? – спросил. – Дам и тебе – зачем двойной путь делать?

Чтоб не ответить слишком поспешно, юкагир тоже выпил.

А в это время послышался стук копыт о мерзлую землю и тяжелое дыхание не одной пары оленей. Кака откинул полу одеяла, закрыл ею растрепанную жену хозяина и вышел наружу.

– Кто такие? – спросил он.

– Кого слышу! Кака, кажется? – раздался из потемок женский голос купца Потончи. – Это мы в твой табун попали?

– О, Попов, Потонча! Здравствуй. Мельгайвач здесь живет, не я. Еттык?[23]

– И-и![24] – ответил весело Потонча. – Иди распрягать моих оленей, не важничай, как купец Антипин. А это кто? О-о! Сам Курилов стоит. Везет мне. Как будто сговаривались. Иди и ты распрягай оленей попутчика, не зазнавайся, как приказчик Мика Березкин. Это гость аж с Верхней Колымы, русский. Начальники большие послали его. Из самого Пербурга он.

– Постой, Потонча, разошелся, – сказал Куриль. – В яранге расскажешь. А про самый большой город знать ничего не хочу: все равно нам с тобой там не бывать. И замолчи.

– Это ж город царя! Как же не хочешь знать?

– Не хочу. К царю не попасть ни нам, ни детям, ни внукам.

В ярангу, освещенную двумя жирниками и огнем очага, вошел худой человек, весь обросший волосами, как русский священник. Он впервые попал в жилье чукчи и не мог сдержать любопытства – вертел головой, как сова на гнезде; и глаза у него были совиные – большие, быстрые, голубые.

---

[23] Еттык? – Приехал?

[24] И-и – да (чукотское приветствие).

– Я, кажется, имею честь видеть известных богачей Каку и Курилова? – спросил он.

– Ы-ы! – отрывисто по – колымски ответил за всех Потонча. – Это работник Черского – слыхали такого? Умный мужик Черский был – по камням и листьям озера и реки читал. Только помер он, в устье Прорвы. Заболел – помер. А за него баба осталась, жена. Вот она и послала его к начальству…

Не дождавшись конца этой речи, русский громко сказал:

– Я служащий экспедиции императорской Академии наук, которую возглавлял погибший недавно ученый Черский. Мое имя – Степан. Сейчас нашей экспедиции нужна помощь. Жена ученого должна ехать в Санкт – Петербург… Вот письмо от исправника Друскина. Прошу прочитать.

Кака, Куриль и даже всезнающий Потонча с великим вниманием и удивлением слушали гостя. Не все слова им были понятны, но что речь идет о царе, о царских делах и о царских людях – это они поняли точно. Для людей тундры, даже таких, как эти трое, не совсем была ясна разница между царем и богом. И видеть, слышать посланца от самого богочеловека было чем – то вроде приобщения к сказке, которой и не веришь, и веришь. Один Мельгайвач не проявлял любопытства. Он много лет прожил в своем собственном мире, знал многих русских начальников, и его удивило бы лишь появление духов, ни одного из которых он так и не видел…

Обросший жесткими волосами гость вынул из кармана бумагу, скрученную в трубку, и протянул ее Курилю.

– Послушаем, что пишет господин исправник, – важно сказал Куриль, передавая письмо Потонче: сам он не смог бы разобрать ни одной закорючки.

С видом единственного здесь, а значит и во всей тундре, грамотея Потонча развернул трубку. Он обвел взглядом бумагу снизу вверх, потом наискосок, сузил глаза так, что их не стало видно, – и все нагибался, нагибался к огню, будто ища иголку, чуть не стукнувшись лбом о котел, висевший над очагом.

– Друскин, наверно, очень спешил и совсем непонятно писал, – сказал он по – русски. – Начальники всегда очень спешат. Ты уж, брат, сам лучше прочти.

Человек с голубыми глазами не улыбнулся, даже напротив – как – то болезненно сдвинул брови и взял бумагу.

Он прочел ее без единой запинки.

На что уж у Куриля губы всегда бывают крепко сомкнуты, но сейчас и он раскрыл рот: таких ученых людей ему видеть не доводилось.

В письме исправник приказывал по первому снегу пригнать в город сто прирученных оленей и сто оленей на мясо. Люди Улуро и Халарчи после этого будут освобождены от ясака за уходящий год.

Прояснились лица Куриля и Каки: оба они стали нужны человеку от царя, а стало быть, и самому царю.

– Утром двести олень будет, – сказал по – русски Куриль. – Можно ночью двести олень.

– Господину Степану лучше спать, – посоветовал Кака. Русский закивал головой, облегченно вздохнул:

– Я, с вашего позволения, переночую. За помощь превеликое вам спасибо.

Потонча бросился из яранги – и не успел никто опомниться, как он втащил деревянный ящик, полный бутылок.

В яранге начался настоящий пир.

Стали усаживаться к огню. Старшая жена Мельгайвача вынула из котла оленину и заложила новую порцию. Под свод яранги хлынули клубы пара и дыма, запахло сварившимся мясом, водкой и табачным дымом.

Несмотря на усталость, русский выпил немного, ел без жадности, желания говорить не выдавал, и его ни о чем не спрашивали – такие люди сами знают, что и когда сказать. Завершив

важное дело, он то напряженно вслушивался в голоса хозяев, говоривших на смеси разных языков и местных русских речений, то принимался разглядывать людей, ярангу, диковинный стол на кругляшах бревен, еду, а то вдруг уходил в себя и думал, думал и думал…

Да, впрочем, ему все равно не удалось бы рассказать что – нибудь важное. Потому что рядом сидел Потонча.

А где выпивший купец Потонча, там даже из двадцати человек никто не сможет открыть рта.

Потонча повидал в жизни многое. Отец его был не то якутом, не то юкагиром, а может, и чукчей. Однако, несмотря на свою внешность, несмотря на то, что был он керетовским[25] колымчанином, сыном кумалана, о чем знала вся тундра, он упрямо называл себя русским. С таким же упрямством он называл себя и уроженцем Ближней Америки[26], когда имел дело с начальниками или городским людом. Но поскольку Потонча служил американцу Томпсону и был его правой рукой, земляки, не сомневаясь в истине, звали его, будто бы сговорившись, американцем – амары – канкиси. Томпсон взял его к себе неспроста. Как – то, играя с ним в карты, он продул сначала упряжку собак и нарту, а потом два ружья. У самого же Потончи в это время не было ничего, даже собаки или доброй дохи. Но Томпсону нужен был человек из здешних мест и обязательно расторопный ловкач. Потом американский делец не жалел, что столкнулся с ним: долго учить его не пришлось.

С виду Потонча – хилый, низенький и сгорбленный мужичок неопределенного рода занятий. На узком лице – никакой растительности, ладошки маленькие, пальцы узенькие, девичьи. Зверек горностай тоже мал, да удал. На состязаниях Потонча побеждает всех бегунов тундры, а прыгает – будто летит. Но подвижен он не только на состязаниях. Вся тундра для него – поле для бегов, на оленях, конечно. Если Мика Березкин сидит в остроге и, как сова, выглядывает, кого бы из приехавших общипать почище, а в тундре появляется раз в году, то Потонча носится по тундре и днем, и ночью, и зимой, и летом, и в дождь, и в пургу. Одно время Улуро было запретной для него зоной: якутские и русские купцы не позволяли там появляться американским хваталам пушнины. Но Потонча за большие проценты прорвался туда и, видимо, не ошибся в расчетах. Ловок, удал и хитер Потонча. Перед ним не может устоять даже такой купец – медведь, как якут Мамахан Тарабукин, У Мамахана один закон: песец есть – купи что хочешь, нету – прощай. Потонча же товары не продавал, а давал, пушнину не покупал, а брал. А это совсем не одно и то же. «Вам чай нужен? Берите, – говорил он. – Табак? Вот он, пожалуйста. Водку пить не мешает, муку кушать – одна благодать, а бусы дарить девушкам – это же красота! Берите, берите…» Сколько хотели, столько и брали юкагиры и чукчи (правда, с расчетом не обидеть других). Но и не мелочились, не торговались – шкурки отдавали, не считая: Потонча – свой, еще приедет, еще привезет товара. Бывало, однако, и так, что он вдруг расплачется, начнет жаловаться, что вот, мол, раздал много товара, а за него почти ничего не взял. И люди входили в его положение – за кирпич чая давали пару песцов, а за берданку – десяток: ладно, сочтемся… От радости Потонча плакал – мол, хорошие люди всегда поймут человека, который не себе служит. Он задаром, из благодарности наливал кому – нибудь в кружку глоток горькой воды и, продолжая плакать и приговаривать, садился на нарту, распутывал вожжи. Потом сквозь топот копыт и скрип полозьев доносилась до стойбища песня. Но кто в пути не поет?..

Доходили до людей и совсем другие слухи о Потонче. Однажды он будто бы сказал: «Мне бы золотишка накопить побольше, а шкурки, песчишки, камусы[27] – это так, барахло». В другой раз, сильно пьяный, он будто бы размечтался: «Разбогатею – подамся в Америку, построю

[25] Керетовая – приток Колымы.

[26] То есть Аляски.

[27] Камусы – наиболее крепкая часть оленьей шкуры (с ног), употребляется для пошивки обуви и других вещей.

шхуну и по всем морям плавать буду». Так это было или не так, но купцы знали: Потонча обгоняет многих из них. Совсем иное дело – молодежь из глухих стойбищ. Для многих ребят и девушек Потонча был загадкой: он не только жил широко, в ином мире, но и стремился куда – то, к чему – то готовился, И наверное, потому он не был обижен счастьем любви, правда, всегда скоротечной…

Целый ворох историй привез в этот раз в ярангу Мельгайвача керетовский купчик – амарыканкиси. О Черском, о его жене Марфе, об их сыне Сасе, о похоронах Черского, о попойках в остроге, о русской свадьбе перед покровом в Верхне – Колымске… Не раз пытался русский гость поправить его – где там: Потонча был слишком весел и счастлив, чтоб понимать, где правда, где ложь, чтоб подумать о том, кто его поправляет.

И совсем не понял Потонча короткого, но сурового, страшного взгляда охотника Пурамы, неизвестно почему и как появившегося в яранге.

Шаман Мельгайвач к этому времени был уже сильно пьян. Но он услышал лай своей единственной собаки. Пока он, падая и вставая, обходил ярангу, Пурама уже стоял перед компанией во весь рост.

Сперва посыльный Сайрэ растерялся, увидев Куриля, Каку, незнакомого бородатого человека, каюра, трех жен шамана. Ему особенно бросился в глаза бородатый русский – и он поклонился так, как учил священник Попов.

– Какие новости расскажут они? – спросил меньше всех пьяный Куриль. Младшая сестра Пурамы была женой Куриля, и потому он мог разговаривать только в третьем лице.

Пурама ответил не ему, а Каке:

– Хайче Сайрэ большое послание шлет…

– Хорошо, хорошо. Я знаю, что он хочет сказать через тебя. После поговорим. Дети живы, растут?

– Если волк не съест теленка до костей и жил, теленок выживет.

Поняв, что сейчас, в присутствии важного гостя может произойти неприятность, Куриль перебил их:

– А что же они не здороваются с Потончей – нашим другом?

И тут Потонча вскочил:

– Брат[28] это мой – Пурама! Что ты болтаешь, Куриль, – мы не враждуем с ним. Настоящий человек он, охотник – нигде не найдешь такого. Забуль[29]. Я поговорить вам дал – может, он важную новость привез. Беда какая случилась? А! – махнул он рукой. – Никакой беды не случилось. Кто родился – растет, старик ваш – шаман жену взял, как ягодку. Правда же, Мельгайвач, как ягодку?.. Дурак кинулся в речку. Беда? Нету беды. Сегодня мы пьем…

Он хотел одной рукой обнять друга, но Пурама потянулся за кружкой, взял ее, чокнулся с русским и Курилем, выпил. Потом он поглядел в глаза купцу – амарыканкиси, перекосив лицо не то от горечи водки, не то ото зла и вдруг смачно плюнул в огонь.

Неизвестно, что было бы дальше, если бы не Куриль.

– Я хочу спать, – громко сказал он, поднимаясь. – И гость хочет спать, и все пойдут спать. Подай, Потонча, доху.

Пурама повернулся и шагнул к двери, чувствуя, как в его спину глядят ничего не понявшие, но пронзающие голубые глаза бородатого человека.

На четвереньках и с помощью старшей жены Мельгайвач добрался до полога – и сразу же захрапел. А Кака опять полез под одеяло к младшей жене. Русскому и Курилю постелили отдельно: у шамана было достаточно хорошо мятых оленьих шкур.

---

[28] Брат – в значении «друг».

[29] Забуль – правда.

Утром половину стада Мельгайвача – тысячу двести голов – погнали в лес, в сторону города. Русского провожали вместе со стадом. Кака и Куриль исполнили долг перед богом, царем и исправником, свои дела тоже сделали, как хотели. Но оба они веселыми не были. Грустно смотреть на уходящее стадо, которое никогда не вернется. Да и дел впереди много. Нужно собрать ясак, объехать все стойбища; собирать же его – не великая радость… А сперва надо в город поехать. Хорошо, беззаботно шаману Мельгайвачу: долг свой получит сполна, да еще будет считать себя благодетелем. Вот и сейчас он спит, как оплывший жиром медведь, а они – на ногах…

Мельгайвач окончательно выспался к середине дня. Его разбудил громкий голос.

– Ничего Потонча не видел! – в сердцах доказывал нездешний каюр, привозивший русского человека. – Я лучше знаю. Чери – не божий человек, а шаман. За два дня вперед знал, какая будет погода, собирал камни в мешок, воду измерял веревкой, а землю – палкой. Разве будет божий человек или царский человек измерять землю, как мануфактуру? Речка Прорва и убила его за это. И жена у него шаманка, и сын будет шаманом: не успели они мертвого придавить камнем в могиле – сами начали мерить речку…

– Я думаю, ты больше прав, мэй[30] – сказал Кака, пошевелив палкой дрова в очаге. Он бросил палку, вытер ладонью пот и облизал ладонь[31]. – Похоже, русские начинают шаманить над нами. Измерять наш край и записывать его в бумагу, как купеческий товар, – это нехорошее дело.

– Юкагирский шаман зря, наверно, Мельгайвача обвиняет. У нас никто никого не убивал, а русские, говорят, в каких – то местах друг друга, как оленей, режут. Это их духи вселяются в наших людей. – Каюр раскурил трубку и повернулся к Пураме: – Сам ты говорил, что Сайрэ ваш старый. Вот он и принял следы Чери за следы Мельгайвача.

Пурама поскреб ногтями голову и вдруг насторожился.

– Ты, ке[32], откуда родом? – спросил он, глядя своими острыми глазами в глаза каюра.

– Я? Из Анюя. Ламут из дельянского рода. А что?

– Ага. Значит, русских знаешь, – по соседству живете. Но как же ты не знаешь, что русские – это божьи люди! Режутся одни безбожники – белоголовые и красные люди, которые и по – русски – то говорить не умеют, и по – божьи мыслить не могут.

– Чери, по – твоему, добрый шаман? – спросил раздраженно Кака. – Так ты хочешь сказать?

– Так. Может, Чери и шаман. Но речку он измеряет не нам во вред, а затем, чтобы амарыканы на нее не пришли.

Поднявшийся Мельгайвач потихоньку присел чуть позади Каки. Он, наверное, видел хороший сон и потому улыбался. А может, почувствовал, что разговор склоняется в его пользу.

– Все знаешь! – насмешливо удивился Кака. – А скажи, если все знаешь. Почему так пришлось: стали речку и землю мерить – и кто – то детей стал съедать? А за лето у наших шаманов ничего не случилось – чтоб кто – нибудь злей стал.

– Я как шаманил для души все годы, так и теперь шаманю, – развел свои ручищи Мельгайвач. – И не пойму, за что Сайрэ на меня напал. – Он перестал улыбаться и добавил: – Если Сайрэ и дальше хочет меня травить, то лучше пусть сразу съест. Иначе я ум потеряю.

Лучше бы Мельгайвач промолчал. Потому что Пурама давно был готов вспыхнуть, как порох в костре.

---

[30] Мэй – друг (чукот.).

[31] У халарчинских чукчей не было принято стряхивать или стирать пот; пот – это «жар сердца», и сердце без него может остыть – тогда человек умрет.

[32] Ке – друг.

– Меркешкин[33] ты, шаман, – прошипел он. – При людях свои заклинания говоришь! Я понял тебя. Ты совсем обратное мне сказал: сначала хочешь Сайрэ ума лишить, а потом съесть! Я шаманский язык понимать научился. Тебе мало было одного Косчэ – еще девочке живот распорол. А чтоб следы замести – Эргэйуо в речку швырнул. Теперь Сайрэ угрожаешь?..

– Хватит! – вскрикнула старшая жена Мельгайвача, бросив в котел мясо так, что вода выплеснулась на огонь. – Не может быть, чтоб наш муж детей убивал.

– Ага. А взрослых, значит, может быть? – прицепился к слову рассвирепевший охотник. – Так вот, послушай тогда, Мельгайвач, и ты послушай, Кака: при свидетелях говорю. Твои, Мельгайвач, духи разбили кружку в моем тордохе? Твои?.. Куриль, Апанаа, гляди – он покраснел. Почему покраснел? Правда в глаза и нос колет?.. И ко мне подбираешься, значит, и к моему брату? Так ты запомни: если еще случится что, я запрягу лучших оленей, приеду сюда – и не испугаюсь тебя ни днем, ни ночью. Я тебе…

Громкий стук ладони о стол прервал его речь. Куриль, как будто дремавший все это время, встал.

– Черти! Все шаманы черти. И Мельгайвач, и Сайрэ. – Он подошел ближе. – Если не перестанут они, я уеду сейчас.

– …И зачем Сайрэ послал к нам такого безумного, – пробурчал тихо Кака, растерянно переводя глаза из стороны в сторону.

– Я уеду, – скрутил Пурама кисет. – Я сказал все. Потонче не сказал, что хотел. Скрылся, трус. Вы передайте: лучше ему в Улуро не приезжать.

Посланец Сайрэ хлебнул из кружечки водку, раздвинул полы ровдуги и не спеша вышел.

– Кака! – сразу же заговорил Куриль. – Большое камлание созвать надо. Пусть шаманы собираются сами. Я ничего не могу – ни понять, ни сделать. Соберем якутских, чукотских, ламутских и юкагирских шаманов. Иначе случится большая беда, а это нам с тобой бог не простит.

[33] Меркешкин – сволочь (чукот.)

ГЛАВА 3

Не всякое дело в тундре сделаешь быстро. На большое камлание шаманов собирали всю зиму; правда, Куриль и Кака не очень спешили, потому что никаких новых бед не случалось. Однако ссора шаманов не давала покоя. Сперва поползли слухи, что Мельгайвач будто бы творит зло не один, а вместе с головой чукчей, Какой. Потом заговорили о том, что Куриль и Кака будто бы выгораживают богатого Мельгайвача и сваливают вину на какого – то русского шамана Чери. Пришлось советоваться с алазейским попом Поповым. И тот сказал: о таких делах надо извещать городских начальников. Отправили в город нарочного с письмом. Ответа сразу не получили. Но потом стало известно, что из Средне – Колымска, с Верхней Колымы и с Индигирки приедут три знаменитых шамана. Им и было поручено разрешить спор.

Косчэ – Ханидо к этому времени исполнилось двенадцать лун, а Халерха уже хорошо ходила.

Жизнь в стойбище у Малого Улуро и само стойбище стали меняться изо дня в день. Сюда сразу же перекочевало много семей с берегов Большого Улуро: приехали те, у кого был или неизлечимо больной ребенок, или убогий человек, или страдающий от шаманского призыва. Все эти люди надеялись на помощь знаменитых шаманов. Затем начали вырастать жилища богачей и купцов, съезжавшихся из острогов и со всех сторон тундры. Наконец все больше и больше стало появляться простых людей: с Колымы приезжали на лошадях, с Индигирки приходили пешком. И небольшой холм у озера все гуще и гуще обрастал пестрыми жилищами, среди которых огромными скалами возвышались белые яранги богатых чукчей.

Жизнь этого невиданного стойбища мудрецов, любопытных, жаждущих чуда и жаждущих новых сделок наполнялась весельем, знакомствами, деловыми разговорами, сплетнями, тревожными слухами. Только настанет утро – и мальчишки уже бегут по всем закоулкам с криками:

– Литэмэч, литэмэч[34]. Люди уже играют!..

Не поев, не попив чаю, мужчины бросаются из яранг и тордохов.

А вот уже тут и там раздаются плач и сбивчивые женские голоса – это поссорились дети, и матери – каждая на своем языке – защищают, конечно, своих собственных, не собираясь понять друг друга.

На берегу озера судачат, шепчутся женщины и девушки, пришедшие за водой. Оглядываясь, что – то выискивая глазами, бродят повзрослевшие парни. Едва ворочая языками, плетутся успевшие хорошо выпить, много лет не встречавшиеся друзья. Важно беседуют за чашкой чаю богачи и купцы.

И лишь два тордоха жили в эти дни особой жизнью. Никто из приезжих не заходил ни к старику Хулархе, ни к Нявалу. Да и сородичи не заглядывали к ним. Кто – то успел пустить слух, что Мельгайвач видел сон, который предсказывал: если их дети останутся жить, то погибнет весь юкагирский род. И хотя Сайрэ сказал, что это – выдумка самого Мельгайвача, люди так и не поселились близко к этим тордохам и с опаской поглядывали на них.

Наконец настал день, когда со стороны тайги на усталых конях в стойбище въехали пять человек – три долгожданных шамана, а с ними главный якутский купец Мамахан и его конкурент на реке Алазее Третьяков Саня.

Самым внушительным из шаманов был верхнеколымский. Один рост этого седовласого старца заставлял содрогаться: сидел шаман на крупном коне, но ноги его едва не доставали земли, а удлиненная голова, похожая на лошадиную, возвышалась над головами всех осталь-

[34] Литэмэч – игра, в которой выходит победителем тот, кто первым и большее число раз набросит аркан на оленьи рога; череп оленя с коротко опиленными рогами лежит в центре круга.

ных. Красный перекошенный рот старика был приоткрыт, и с отвисшей нижней губы стекала слюна. Оба побелевших глаза смотрели вдаль с таким надменным безразличием, будто не было ни людей, ни стойбища, ни земли. Никто не знал имени этого чудища, но, по слухам, якуты ненавидели его лютой ненавистью, считали кровожадным – чуть ли не живой помесью сатаны с чертом… Рядом с ним ехал индигирский шаман Ивачан. Этот ничем не мог обратить на себя внимание. Был он невысоким, но упитанным, как бычок; простоватое лицо его не выражало ни ума, ни каких – либо скрытых чувств. Бросались в глаза лишь очень кривые ноги, которыми он цепко обхватывал лошадиное брюхо. Его можно было бы принять за удачливого рыбака или охотника, у которого одни заботы – семья. Но улурочи хорошо знали его – Ивачан шаманил среди ламутов, близких по крови к юкагирам, и был единственным в тех краях сильным шаманом – настолько сильным, что на него тоже поглядывали со страхом. Говорили, что Ивачан съел всех своих родственников, что он не позволял молодым обрести шаманскую силу и тоже съедал их – сживал со света… Третьего посланца вообще нельзя было бы причислить к роду шаманов, а тем более – мудрецов, если бы люди не знали, что им был Токио. Этому Токио, якуту – шаманчику из Сен – Келя, тридцать лет от роду, но выглядит он настоящим мальчишкой. Сидя верхом на лошади, он сейчас вертелся в седле, с радостным любопытством разглядывая огромное невиданное стойбище, подмигивая девушкам, приветственно кивая возбужденным мальчишкам. Это был необыкновенный шаман. Его всегда тянуло к молодежи и даже к детям. Легонький, верткий, он бодро улыбался, не раздумывая, включался в любую игру, даже катался с детишками на салазках, а в прятки мог играть, забыв обо всем на свете. Многие девушки в разных стойбищах сохли по нем и не скрывали, что хотели бы стать шаманками – лишь бы оказаться рядом с ним на всю жизнь. Был Токио очень красивым – лицо у него розовато – смуглое, не скуластое и не длинное, губы яркие, резко очерченные и добрые, а в карих до черноты глазах так и плещется северное сияние. Однако же всем было известно, что невинное это лицо… эти детские шалости – только прикрытие, маскировка. Скопление огромной шаманской силы – вот что в действительности представлял собой Токио. Рассказывали, что ей волшебными словами исцелял умирающих, а тех, кто оскорблял его… заставлял падать и стонать от боли. Был слух, что в городе он словами сбил с коня и отправил в нижний мир жестокого казака, а такое не смог бы сделать даже верхнеколымский шаман. Добрым был шаман Токио…

Шаманы и оба купца остановились в центре стойбища, на никем не занятой площади. К ним, ковыляя кривыми ногами, подбежал старый Сайрэ. Без хитростей и присказок он поздоровался по – якутски и по – деловому сообщил, кто в какой яранге или тор – дохе должен расположиться. Но не успели приезжие спешиться, как со стороны Большого Улуро показался караван Куриля. Решили дождаться главного здесь человека.

Куриль тоже приехал на лошадях. С ним был скупец – старик Петрдэ и его сын Мэникан.

Глаза верхнеколымского шамана ожили, когда голова юкагиров спрыгнул с коня.

– Богатой ту – ундры правитель, диких звере – ей укротитель, – нараспев заговорил он, – голова славного юкаги – ирского рода…. Афанасий Кури – илов, дорообо[35]. Славлю твое высокое и-имя. Привет до – оброму сердцу и большому уму-у!

Куриль бросил поводья сыну Петрдэ, пожал руку шаману.

– Ага… Появился мучитель людей, безжалостный старикан! – сказал, улыбаясь, Токио.

Куриль улыбнулся тоже: ему такой разговор больше нравился, чем восхваление старика.

– Идемте в тордох, – сказал он, пожав руку промолчавшему Ивачану, а потом потному толстяку Мамахану. – И тебе привет, Саня.

Тордох был рядом. Зайдя в него, Куриль со вздохом проговорил:

– Комар начинается… Но сэспэ закрывать не будем: в темноте насидимся еще.

[35] Дорообо – здравствуй.

– Я слы – ышал, – запел дребезжащим голосом верхнеколымский шаман, хитро прищуривая глаза, – что ваш Сайрэ-э… иногда разговаривает… с комара – ами…

– Не знаю, – отрезал Куриль. – У него спросите: яранга рядом. Шаманского языка не понимаю.

– О-о, не понимает обладатель… такого ума, известный человек… в мире? – не согласился старик. – Шу – утишь… боишься раскрыть свои та – айны?

– Нет у меня тайн, не шаман я – и не жалею об этом.

– Все это странно слышать, – заметил Ивачан, с кряхтеньем усаживаясь поодаль. – А я почему – то издалека услышал твой сильный призыв – потому и приехал.

– Неправда, – спокойно ответил Куриль. – Ты получил письмо от исправника Друскина, узнал, где все трое встретитесь, – вот и приехал. На Ясачной[36] вы встретились?

– О-о! – обрадовался такому ответу верхнеколымский шаман, садясь за стол. – Это и мне-е теперь странно слышать… А как же правитель Охоноо[37] обо всем этом узнал? Друскин ничего ему не писал… на словах не передавал…

– На шаманское прошлое деда моего намекаете? Нет. Духи тут ни при чем. Это я подумал, что по – другому быть не могло. – Куриль взглядом, будто крючком, зацепил правый, более светлый глаз старика.

Шаман с Ясачной понял его, однако не подал виду и тем же монотонно дребезжащим голосом продолжал:

– По – омню я твоего деда… Си – ильный шаман был… И духи его сильными были… Не уследил только, куда они подевались…

– Постой: а не шаманским ли волшебством ты, Апанаа, разбогател? – ляпнул напрямик Ивачан.

Длиннолицый старик сперва вроде бы удивился такому истолкованию его слов, но потом брезгливо поглядел в угол и перевел взгляд на Куриля: что, мол, там еще болтает куцый волк с Индигирки и стоит ли его слушать. Но это не спасло посланцев Друскина: Куриль хорошо понял их. Исправник недоволен беспорядком у юкагиров, а значит, недоволен им, головой. Если б это было так, шаманы не поднимали бы шерсть. Ивачан же хорохорится не только потому, что умом беден: ламуты когда – то увидели в Куриле заступника, а это ему не нравится до сих пор. Недовольство исправника – не пустяки. Однако сейчас хуже другое. Духи деда, смерть товарища – пастуха, даровое огромное стадо… Все это уже пытались связать с шаманством. Но заговорить о злодействе ради богатства сейчас, когда собрано столько людей, да еще самых жадных к слухам, когда вся тундра повернулась сюда лицом, – тут, как ни нюхай, хорошим не пахнет.

«Что ему надо? Чего он хочет? – Куриль сильно зажмурился, чтобы перед глазами растаяла красная зыбь. – Бросит камлание это чудовище – и уедет. Скажет – не могу правду узнать: тут есть более сильный шаман – душит он моих духов. Одни черти знают, на что он способен. И ничего не потеряет, если уедет. Собьет с ног; не успеешь оглянуться, как обвинят в покушении на детей и как печать отберут. Разорит – и хвастать будет, что победил первого хищника…» – Куриль открыл глаза и увидел перед собой отвратительное лицо слюнявого старика. Шаман следил за ним, не моргая; он ожидал ответа и наперед знал, каким будет ответ.

Но эта самоуверенность старика неожиданно подсказала и Курилю ответ на трудный вопрос: «Чего он хочет? Ага, – подумал он, – тут все и сложней, и проще: надо не так разговаривать с ним. Уважения требует. Нет, большего – признания ума и силы, преклонения перед ним. Потому и пугает…»

---

[36] Ясачная – приток Колымы.

[37] Охоноо – измененное «Афанасий».

– Мамахан, – повернулся Куриль к купцу, который уже блаженствовал над чашкой ухи, удивленно разнюхивая пар: молодая жена Микалайтэгэ хоть и была страшной неряхой, но зато умела приправить еду одной ей известными травами, да так, что можно было сжевать язык. – Мамахан, я сейчас знаешь о чем подумал? Все – таки нам придется с тобой поехать по острогам да поглядеть, как строятся церкви. Своего бы попа заиметь, людей приобщить к светлой вере… А то вот ждали большого камлания, дождались шаманов – а они начинают с угроз. Видно, правду узнать – для них последнее дело…

Мамахан понял игру Куриля, своего давнишнего друга.

– А чего ж не поехать, – ответил он. – Исправнику дело такое понравится…

Мутные глаза шамана метнулись из стороны в сторону, как два зверька, ищущих норку.

– О, Куриль! Кто ж тебе угрожал? – он обтер рукавом рот. – Ты не так понял меня. Я думал, тебе приятно будет, если я деда твоего вспомню. А Ивачан просто злой: долго ехал верхом, шибко зад растер…

– Пусть сходит к озеру и обмоется, – оборвал его Куриль, наконец берясь за еду. – Садись, Ивачан, угощайся. Если б я был владыкой шаманов, я приказал бы всех глупых и ненастоящих шаманов пороть. А сильным, добрым и умным шаманам придал бы еще больше сил – чтоб не путались по разным следам, а сразу бы узнали правду.

– Да что я? – закряхтел Ивачан, поднимаясь. – Я шаман так себе, средний. Никого не обижаю. Только следы разгадываю, если люди попросят. Не держи на сердце мои плохие слова, Апанаа.

– Когда камланить начнете? – спросил Куриль. – Да, а где Токио?

– С ребятами борется, за тордохом, – ответила жена хозяина, тихо хлопотавшая у пуора[38].

Действительно, снаружи доносились топот, сопенье, ребячьи голоса, смех.

– Позови.

– Догор[39], не будем больше бросаться словами, как криками голодные чайки, – согласился на мировую старик, почти совсем перестав распевать свою речь. – Я думаю, после угощения и начнем. Дорогу открою я… А потом индигирский волк будет. Последним – Митрэй. Вот он – Митрэй. Слышь, Токио: будешь последним камланить. А уж потом, если захочет, Сайрэ. – Он испытующе посмотрел в глаза Курилю: не будет ли, мол, возражений! И хоть порядок этот явно играл на его руку. Куриль ответил:

– Мне все равно.

Шаман еле сдержал тяжкий вздох. «Хитер, лысый дьявол», – сказали его глаза.

Токио стоял перед почтенными людьми растерзанный, красный, весь в пыли и приставших к одежде травинках. Но он ничуть не считал себя провинившимся или ничтожным.

– Я на улице буду камланить, – твердо сказал он.

– На улице? Это как же – при свете? – не донес до рта мясо Куриль.

– Без темноты обойдусь. Могу и без песни, могу и без бубна…

– Распорядись, догор Афанасий, чтоб тордох ставили. Пусть большой ставят. Детей не пускать. Только двоих – мальчика Ханидо и девочку Халерху.

Белолицая, красивая, но растрепанная и грязная хозяйка тордоха потчевала гостей с таким увлечением и старанием, что они не знали, радоваться им или злиться. Уха, молодая оленина, вареный чир, печень налима – все было приготовлено будто для самого исправника. Но женщина вертелась возле стола, как комар перед глазом; изодранную доху она надела внакидку, и рукава летали в воздухе, чуть не шлепая гостей по лицам. Куриль тихо бесился, но проклинал не ее, а Пураму: это он – темный, как тайга, человек – настоял, чтобы гостей «хорошо покормили»…

---

[38] Пуор – хозяйственный, «женский» угол в тордохе; кухня.

[39] Догор – друг (якут.).

Как бы то ни было, а за время потчевания люди успели разобрать два тордоха и соорудить из них один огромный. И костер уже разожгли в центре его – чтоб прогнать комаров, а потом сушить на нем бубны.

А возле маленькой для такой громады двери собиралась, шумела толпа. Стало известно, что детей не будут впускать, но всем матерям хотелось непременно быть на камлании – и начался спор, кому «по справедливости» надо оставаться с детьми, если всех их оставить в двух ближних тордохах. Мужчины тоже сводили счеты, правда, совсем иные. Нужно было выделить несколько человек на очень важное и почетное дело. Шаман во время камлания может упасть, а это большая беда, которую нельзя допустить. Шаман рухнет на землю – и люди вскрикнут от ужаса: кто – то из них обязательно умрет, могут умереть даже несколько человек… Мужчинам и хотелось прославиться и было боязно: больно уж огромен один из шаманов. Двоим предстояло оберегать камлающего, а еще двоим держать веревку, чтоб шаман не упал на людей.

Толпа шумела – а в это время позади нее шла древнейшая игра мальчишек в салки – догонялки – толкалки. Всегда страдающие от этой игры девушки, однако, упрямо не смешивались с толпой. Вместе с ребятами носился здесь, как жеребенок, и Митрэй Токио. И если молодым было просто весело, то взрослые и пожилые хорошо знали, что это вовсе не игра: странный, непонятный, но знаменитый шаман Токио не зря бегает, не зря распаляет себя…

Верхнеколымский шаман наряжался за небольшим пологом. Он вынул из мешка огромный бубен, увесистую колотушку, потом истрепанную доху, в которой утонули бы вдвоем Ивачан и Токио, вытянул поясок с амулетами, ожерелье с колокольчиками, деревянных и костяных человечков, коротко опиленные оленьи рога. Он одевался – а лицо его было уже нездешним, бледным, глаза ни на чем не останавливались, с губ сильно стекала слюна.

Тордох между тем быстро наполнялся людьми – и вскоре нимэдайл[40] задрожал от напора. Не дожидаясь, пока каждый найдет себе место и пока закроют сэспэ и онидигил[41], наряженный шаман вышел на середину и уселся рядом с другими шаманами. Сюда же, к середине, протискивались еще два человека, за которыми и закрылась сэпсэ. Этими двумя были совсем осунувшийся старик Хулархa с маленькой дочерью на руках и растерянный, как ребенок, Нявал с сыном, обхватившим ручонками его шею. Кроме приезжих шаманов, в центре сидели еще Куриль и шаман Сайрэ.

На большое камлание Сайрэ пришел хорошо одетым, помолодевшим. На голове у него был новенький малахай, и под этим малахаем лицо, покрытое редкими волосинками бороды и усов, казалось благообразным, чинным – даже испорченный глаз как будто расширился. По всему было заметно, что Сайрэ чувствует себя чуть ли не в «верхнем мире». Люди понимали его: ведь он, а не кто – то другой, встал на защиту детей, он поднял на ноги не одну тундру и по его призыву сейчас начнется такое неслыханное камлание – всего этого достаточно, чтобы переживать настоящее шаманское счастье, которое теперь останется с ним до конца жизни. Конечно, сейчас могут сказать, что он ошибся в разгадке тайны. Но неужели Сайрэ не готов постоять за себя?! Наверняка духи его окрепли, и он теперь способен узнать куда больше, чем узнал год назад.

Между тем Сайрэ действительно знал больше других и был уверен, что опрокинет даже шамана с Ясачной. Кто видел, как Мельгайвач менялся с Эргэйуо ножами? Никто. А он видел, и, если что, Мельгайвач признает это… Сейчас Сайрэ, однако, вовсе не думал о доказательствах своей правоты, которые можно предъявить и без камлания. Он удивлялся своей способности угадывать связь происходящего с прошлым, и угадывать быстро, без подготовки. Ведь в тот день, когда он шел за Нявалом, он не думал ни о чукотском шамане, ни о Потонче, ни о несчастной красавице Пайпэткэ. Полусонный, он думал о своей жизни и старости, о том,

[40] Нимэдайл – треножная основа тордоха.

[41] Онидигил – дымоход, отверстие в верхушке тордоха.

что делает людям добро, а остается бесславным и бедным. И только потом его озарило: после камлания стал говорить, и слова сами собой сплели прочную сеть, именно тут вспомнился случай с обменом ножами и всплыло красное, довольное лицо Мельгайвача, с улыбкой сказавшего что – то полоумному парню, который радостно и опасливо схватил нож с белой ручкой… Нет, к Сайрэ приходит настоящее вдохновение, он – настоящий шаман. Придет вдохновение и теперь; что подскажет оно – неизвестно, но он чувствует в себе силу, уверенность…

Став ногами на землю, Ханидо и Халерха даже не обратили внимания на людей, жадно, со всех сторон глядевших на них. Звон колокольчиков наряженного шамана был важнее всего на свете, и оба они потянулись руками к блестящим игрушкам. А когда рогатый, бледный шаман, как свирепый бык, недовольно повернул к ним лицо – они дружно захохотали.

Тут, однако, заткнули онидигил, и тордох сразу погрузился в потемки. И пока глаза людей привыкали к темноте, в наступившей тишине вдруг раздался пронзительный плач, такой же дружный, каким был и смех.

Тугой и звонкий гром нагретого бубна заглушил детский плач.

Камлание началось.

Гусиный прерывистый крик огласил огромный тордох. Крик неожиданно оборвался, и словно другой человек очень спокойно запел протяжную песню каюра. Но песня тянулась недолго: шаман прыгнул, затрясся, рассыпав отчаянный звон колокольцев. Звон смешался с рычанием, и все это слилось с грохотом бубна. Нагнетать звуки дальше было нельзя, и шаман, наверно, хотел снова запеть, но его опередил отчаянный плач детей. Халерха не плакала, а визжала, Ханидо хрипел, вырываясь из рук отца.

Токио встал.

– Нюхать! – сказал торопливо он. – Шаман будет девочку нюхать.

Огромный рослый Ланга, оберегавший шамана, бросился к Хулархе и прямо – таки отодрал от него цепкую Халерху. Рогатый старик быстро обнюхал девочку, поймал ее руку, разжал ладошку и плюнул в нее.

– Сомкни ручку – в ней большая силища, – сказал он и отскочил в сторону, прыгнул, завертел головой, заколотил в бубен.

Старик Хулархa, завороженный происшедшим, прижал к себе дочь и крепко обхватил ее кулачок пальцами – словно в нем была великая драгоценность, а несмышленый ребенок может ее потерять. Видя, что с девочкой что – то делают в темноте, Ханидо стал навиваться, хрипеть взахлеб, и Нявал, растерявшись, искал глазами жену…

А камлание продолжалось. Мало кто из людей знал якутский язык, но понять шамана с Ясачной не смогли бы даже сами якуты – шептал он неслышно, приговаривал, заклинал скороговоркой, а пел медленно, уродуя и разрывая слова. С трудом удавалось сообразить, что вот он поднялся в «верхний мир», вот подзывает своих духов и объясняет, что надо им делать.

Куриль сначала следил за ним пристально, с подозрением; он даже улыбнулся, прикрыв рот ладонью, – было смешно смотреть, как кривляется, прыгает, скачет неуклюжий, длинный старик, слишком умный для такого кривляния. Но когда он заметил на его губах пену – закрыл глаза, надолго закрыл, – и задумался. Кто знает, может, действительно человек, распалив себя до настоящего бещенства, способен мыслить как – то иначе и видеть то, чего не видят другие?

Открыл он глаза, когда люди вскрикнули от испуга: шаман упал на веревку, которую изо всех сил натягивали Пурама и Хурул. Широкоплечий Ланга и крепкий мужик Микалайтэгэ схватили его, начали поднимать, но старик бился в судороге; как прирезанный олень, он дрыгал одной ногой в воздухе, а правая рука продолжала конвульсивно взмахивать колотушкой.

Но это не оказалось концом. Шаман вдруг ожил; словно проснувшись и вспомнив о деле, он метнулся, прыгнул, загоготал, закричал нечеловеческим голосом – но очень быстро обмяк и, опустив руки с бубном и колотушкой, сказал:

– Посадите меня…

В темном и душном тордохе наступила долгожданная тишина. Раскинув ноги и уронив на грудь голову, старик тяжело дышал. Так он сидел очень долго, пока наконец не попросил:

– Рыбьей крови… дайте попить.

В тордохе совсем исчезли звуки – даже дыхания и шуршания одежды не стало слышно: сейчас шаман начнет говорить.

– Следы девочки… обнаружил я вокруг вашего стойбища, – объявил старик, отдавая опустевшую медную кружку, – они смешаны со следами… шамана – чукчи… Но Мельгайвач… не виноват. Зря на него злитесь… Воображение вас… обманывает… не настолько он кровожаден, чтоб убивать… невинных детей… Не Мельгайвач нашел духов – они сами… нашли его. Они нападают от его имени и следы оставляют его. Но он не знает… Такие духи… Если же вы будете обижать этого человека, то он рассердится, разозлится, а злость его превратится в крылья духов, и тогда духи сделают все, что задумает он. Не трогайте больше Мельгайвача.

Эти слова были такими неожиданными и такими понятными, что тишина сразу же нарушилась общим говором. Каждый судил по – своему.

– Хм, хорошо сказал, хорошо сказал, – бубнил себе под нос Сайрэ, ни к кому не обращаясь. – Но духов не удушил. Почему же не удушил?

Верхнеколымский шаман, не вставая, отполз назад, к Курилю.

– Тяжко камлать с дороги, – пожаловался он по – простому.

Куриль подался к нему:

– Спасибо тебе, хайче. Правда твоя облегчит души людей.

Народ судачил, а индигирский шаман уже переодевался и отдавал распоряжения. Как все ламутские шаманы, он потребовал перед камланием исполнить его условия. Сейчас надо было убить двух собак, кобеля и сучку, и захоронить их под скалою едомы. Для этого дела нужен был человек, и он быстро нашелся: Пурама бросил веревку, перешагивая через сидящих, пробрался к двери, с кем – то поговорил и сказал, уходя:

– Все сделаем быстро и точно.

А пока завернули полы двери, впустили в тордох свет и воздух. Синий угарный дым пластом потянулся наружу.

– Когда руку – то можно разжать? – спросил Хулархa Нявала.

Отец мальчика Ханидо, Нявал, был таким же молчаливым, как и старик Хулархa. Вечно приоткрытый и будто на ветру высохший рот его словно и не был приспособлен для разговора. Вместо ответа Нявал сейчас только пошевелил языком, и это означало, что он не знает, когда девочке можно разжать ладошку, в которую плюнул шаман.

Дети сидели у них на коленях теперь спокойно. Может, поняли, что здесь, в этом страшном загоне, нет надежнее и безопаснее места, а может, обессилели просто. Щеки Халерхи и Ханидо были сплошь в грязных узорах и в дорожках от слез. Глаза их смотрели на дверь, в сторону света, но смотрели смиренно и безразлично…

Духи ламутских, юкагирских и чукотских шаманов всегда считались слабее якутских. Но от ламута Ивачана люди ждали многого: слишком страшной была его слава, и как знать – может, он сделает то, чего не сделал верхнеколымский шаман.

Пурама вернулся, еле переводя дыхание. Он тут же схватил веревку – и эта его ревностная служба шаманам для Ивачана была как нельзя кстати: выступать сразу же после могучего старика якута, да еще перед чужими людьми, нелегко.

Долгим грохотом вновь нагретого бубна начал камлание индигирский шаман. Первые заклинания он произнес кратко, поспешно. Потом и песни его оказались недлинными. Ивачан больше бил в бубен – бил, бил, и бил, будто заранее предвещая победу своих духов над духами Мельгайвача… И он поднялся в «верхний мир»: грохот быстро вдохновил его… Потом он упал на веревку, упал раз, упал второй раз; поставленный на ноги, он продолжал шептать, приговаривать, отчаянно колотить в бубен и прыгать, широко расставляя кривые ноги.

«Хватило бы у него ума сказать, что передушил всех злых духов… – размышлял Куриль, неприязненно наблюдая за Ивачаном. – Всем бы хорошо сделал – и людям, и мне, и себе». Куриль был убежден, что слава индигирского шамана держится на сплошном обмане, на хитром использовании случайностей: знал он, почему и как умерли его родственники… Сейчас Ивачан и на веревку – то падает не потому, что переносится в иной мир, а из – за усталости, да и прыгает вприсядку вовсе не ради дела, а потому что ляжки в дороге натер, и так ему, видно, легче, только люди не знают этого…

Опущенный на землю индигирский шаман не стал отдыхать долго. И не случайно, что никаких новостей он не принес.

– Много следов вокруг вашего стойбища… Так много, что я долго по кругу ходил… Но следы верхнеколымского шамана указали путь в глубину темного мира… Духи сами натравливают вас на Мельгайвача… Не поддавайтесь им, а то беда будет. А Мельгайвач не виноват – он хотел бы навсегда усмирить их, да не может…

Куриль едва удержался, чтобы не сплюнуть. Знал, что сплюнуть в такой момент, да еще перед народом – значит надругаться над верой людей и над шаманом, но все – таки чуть не решился на это. «Несчастный подражатель! – кипел он. – Хоть бы слова – то свои придумал…» Он встал и поспешно вышел из тордоха.

Наматывая на локоть веревку, Пурама недоуменно посмотрел ему в спину, потом перевел взгляд на Сайрэ, который сидел в глубокой задумчивости, не двигаясь. Первый раз в жизни простой охотник почувствовал что – то неладное. Опять голова Куриль вмешивается в шаманские дела, опять происходит что – то такое, что скрыто от него и всех простых людей… Теперь он видит это, хорошо видит. Острые, как охотничий нож, вопросы кольнули его сердце: «Голова требует от них что – то? А они не слушают его? А разве можно от них что – то требовать?..»

Куриль между тем остановился возле своего тордоха. Его распирало желание сейчас же сесть на коня, бросить все и уехать в свой Булгунях. Ему теперь было все ясно: шаманы хоть и не добились от него особых почестей, не заставили его унижаться, но упрямо не хотят начисто покончить со склокой – оставляют для Сайрэ широкую щель. Ведь нельзя же поверить, чтобы духи шамана – якута – если они есть – не передушили духов чукчи! Не хотят шаманы – и не боятся слабость свою показать… Куриль услышал говор выходивших из большого тордоха людей – и еще отчетливее представил себе, что все останется по – прежнему, когда шаманы уедут. И он заколебался: может, поглядеть, что будет дальше?

Чьи – то шаги стихли за его спиной. Он оглянулся – и увидел Нявала с ребенком на руках и его жену.

– Это… Куриль… Как мне сказать – то? – с трудом заворочал языком Нявал.

– Ну, как думаешь, так и скажи.

– Да как я думаю… И не знаю как…

– Завтра же следы нашего Ханидо разгадывать будут, – вмешалась жена Нявала. – Ты не ругай, что я за него говорю… Я и угощение приготовила.

– Приду, – сказал Куриль. – Вот высплюсь – и приду… Чего это мальчик лицом вроде переменился?

– Это… так… значит… – Нявал поводил по бледному и грязному лицу сына сухим скрюченным пальцем. – Комары покусали его.

– Ты вот что, Нявал, иди – ка к моему дяде Петрдэ: у него горькая вода есть. Пятки мальчишке натереть надо – я слыхал, в остроге делают так. А то болеть будет.

Жена Нявала, вдруг сделавшись неподвижной, стала тихонько щипать мужа – мол, не соглашайся, идем поскорей. Куриль заметил это. «Не даст же водки этот жадюга, – подумал он. – Или счел совет нехорошим?»

– Ладно, приду, – сказал Куриль, отворачиваясь от них.

До самого вечера голова юкагиров не встречался с шаманами. Но когда настало время идти в гости, он решил, что нельзя совсем обходить их – обидятся, разозлятся, да и люди станут глядеть с подозрением – а это пользы не принесет.

В отличие от неряшливой жены Микалайтэгэ, жена Нявала была очень опрятной, аккуратной, не надоедливой. Еду она подала вкусную, добрую. Уха была свежей, без всяких приправ, а потому и особенно вкусной. Подала она жареную печень, икру и такую жирную юколу, что, когда стали ее есть, запивая чаем, жир потек на одежду ручьями. Словом, все – и шаманы, и Куриль, пришедший вместе с дядей Петрдэ, – были очень довольны. И, может быть, поэтому попытки Куриля завязать серьезный разговор были вялыми, да и шаманы переводили его на простую беседу о прошлом, на мудрую болтовню о повседневных делах, и слабый заряд Куриля пропадал даром.

Разошлись поздно, когда солнце оставило над тундрой лишь макушку с золочеными стрелами.

Слух о том, что на второй день первым будет камланить Токио, облетел стойбище быстрее другого известия. Языки у девушек молодые и звонкие…

Девушки – то и взбудоражили стойбище раньше времени. Было еще далеко до полудня, когда они уже заняли лучшие места в большом тордохе. За ними потянулись и взрослые.

Все их приготовления и ожидания, однако, оказались напрасными. Перед камланием появился Сайрэ.

– Разве женщина будет камланить? – спросил он, обведя взглядом плотное кольцо девичьих лиц. – Нет, нельзя.

Духи сразу почуют ваш запах и не будут подчиняться шаманам.

И поползли одна за другой из тордоха принаряженные невесты. И Токио глядел в их лица и подмигивал: не унывайте, мол.

– Ну и камлание… – кряхтя, проговорила Лэмбукиэ, выползая в первый ряд. – Игра, а не камлание. А вчера я чуть не плюнула, прости меня бог…

– Люди, вы так не говорите, – сказал Сайрэ, – и не думайте, что старый якут вас не поймет: мысленно он может подслушать и беду напустить.

– А беда и так уже есть! – рада была прицепиться к словам болтливая Лэмбукиэ. – Чего же он вчера с полпути вернулся? Чего ж не придушил духов? От беды избавить не смог, а напустить беду может?.. Посмотрим, что молодой сделает. А от этого старого черта и ждать было нечего…

И как всегда вмешался муж Лэмбукиэ. Началась перебранка: он опять стукнул жену по рукаву, та вспыхнула, назвала его дряхлым оленем, а он ее старой важенкой. И пошло… Только народ сегодня почему – то не одергивал их, не открещивался от грешных слов, которые сыпала Лэмбукиэ на голову шамана – якута. Но Сайрэ крепко зажмурил сбой глаз, давая людям понять, что от этих ее слов у него в голове потемнело. Так, с зажмуренным глазом, он и хотел было сесть рядом с Токио, но перебранка вдруг оборвалась.

– Ты сказала – черт, – набросился он на Лэмбукиэ. – Мы на чертей больше похожи, чем якуты. Якуты чисто живут, грязь не любят, вшей не заводят. И русские так же живут. А мы во вшах видим счастье[42], считаем, что человек будет богатым, если у него волосы от пота и грязи лоснятся… Но ты помнишь, что кулумский поп говорил? Помнишь? Бог сказал людям: грязное тело – все равно, что грешное тело…

Это был неожиданный поворот в разговоре, и Лэмбукиэ не нашла, что ответить. Да тут кстати появились и оба шамана.

---

[42] У юкагиров было поверье: выдавая дочь замуж, родители высказывали пожелание, чтобы у нее в волосах «черви» водились. Это означало, что они желают дочери быть сытой и здоровой, ибо вши будто бы не водятся у голодных и хилых людей.

Сайрэ повернулся и увидел, что Куриль уже сидит возле Токио, – он наверняка все слышал. Нехорошо получилось. Вчера Куриль при всех высказал недовольство приезжими шаманами, а он, Сайрэ, сегодня защищает их.

И чтобы сбить с толку всех, но особенно Куриля, он решительно сел рядом с ним, а не с шаманами: пусть думает, что неправильно поняла его…

Люди ждали камлания, а Токио все не вставал и не брал бубна. Молодой шаман сидел, а потом зачем – то лег и подпер ладонью голову. Сначала никто не обратил внимания и на его тихую песню. Но когда песня усилилась и сменилась шепотом – заклинаниями, – люди вдруг поняли, что камлание – то уже идет.

Ни бубна, ни амулетов у Токио не было. Он просто надел короткую драную дошку, подпоясался тонким ремнем и начал, не сходя с места.

Когда все насторожились, Токио сел. Сел, но бубна опять не взял. Так, сидя, он на новый лад затянул негромкую песню. Он пел, пел и пел, лишь изредка поднимая или опуская голову – чтобы прошептать заклинания. В тордохе установилась такая тишина, какая бывает в безветренный день в глухой зимней тундре. Люди пытались лучше расслышать слова и сдерживали дыхание.

А конца песни не было. Токио пел о своей длинной дороге в тот мир, где обитают духи, и дорога его не была такой запутанной, как у ламутского шамана… Вот он встретил одного своего духа, второго, третьего, четвертого, вот он спокойно разговаривает с ними, узнает от них новости – какие, этого никто пока что не знает… А дорога тянется и тянется, и нет впереди никаких примет, которые заставили бы ожидать что – то удивительное или тревожное…

Шаманы, Куриль и родители с детьми, как и вчера, сидели в центре. Шаманы, смакуя, пили рыбью кровь, похожую на жиденькую кашицу, – это любимое питье шаманов все утро и половину дня готовили жены Нявала и Хулархи. Куриль сидел с закрытыми глазами, не двигаясь. Он ни о чем не думал, а только ожидал конца песни. Но потом голова его как – то сразу склонилась на грудь – и он вдруг очнулся. «Смотри – ка: в сон клонит, – удивился Куриль. – Уж не усыпляет ли этот волчонок?» Тревожно оглядев людей, он заметил, что все стали какими – то вялыми, разомлевшими, а девочка Халерха спокойно спала на коленях отца, спал и Ханидо, откинув руку. «Вот оно – волшебство!» – подумал Куриль и почувствовал, как сильно забилось сердце.

Все муки из – за шаманства Куриль потому и испытывал, что верил чудесам и не верил. Однажды умирала женщина, а шаман, покамланив, сказал, что она завтра же выздоровеет. Но женщина умерла. Шамана упрекнули, а он ответил, что его надо было понимать в обратном смысле: выздоровление – это ведь вечный отдых. Вот тогда – то Куриль и смекнул, что точно так же мог бы выкрутиться и он и любой другой человек – нужна только хитрость. Но Куриль знал и другие случаи. Он хорошо помнит, как один шаман приказал больному побегать возле озера – и тот сразу выздоровел. А его дядя – шаман призывал в тордох птичек и гусей – ведь можно же одним взглядом заставить собаку прыгнуть в воду, наверно, можно и вызвать к себе птицу?..

Пока Куриль соображал, что лучше – отдаться силе волшебства и испытать неиспытанное или, наоборот, постараться сохранить бодрость и на все поглядеть со стороны, шаман Токио тихо смолк и неожиданно вскочил на ноги.

– Эй, проснитесь! – с мальчишеским торжеством крикнул он. – Я вернулся уже.

Люди заворочались. Некоторые из них действительно сладко дремали.

– Посидите здесь, – сказал Токио, – а я пойду чаю попью.

– Стой! – запротестовал Куриль. – Кто же так делает?

– Я делаю, – ответил шаман. – Если не устали, то спите. А я пойду.

И он ушел.

– Плут, – шепнул Курилю на ухо Сайрэ. – Под долгую песню в тепле всякий заснет.

– Вели – и – и-кий шаман, вели – икий, – скрипуче пропел верхнеколымский старец, – а будет совсе – ем великим…

– Похоже на это, – согласился с ним Ивачан. – Сила в нем огромная…

Куриль, заметив, что Пурама, скручивая не пригодившуюся нынче веревку, стал на колени и смотрит прямо ему в рот, торжествующе заерзал на месте: ему пришла в голову мысль спросить Сайрэ – сильный ли шаман Токио, спросить при свидетеле. Что скажет он не на ухо, а для людей?.. Сайрэ, однако, почуял неладное и заторопился: ведь наступала его очередь камланить.

– Пойду спрошу Пайпэткэ, все ли она принесла мне, – сказал он, вставая.

Куриль ничего не ответил. Он только сдвинул брови и, глядя в лицо Пурамы, как – то странно, с тяжелым вздохом покачал головой.

Токио долго не появлялся в тордохе. Время шло, людям уже надоедало сидеть в темноте и духоте, а его все не было. Забеспокоились и шаманы, начали переговариваться.

– Догор, – наконец не выдержал верхнеколымский шаман, – сходи, догор, узнай, скоро ли…

Пурама в этот раз не бросился со всех ног выполнять просьбу. Он посидел, подумал и лишь после этого пополз к двери.

Вернулся он быстро. Вернулся, но в тордох не вошел, а только просунул в дверь голову.

– Там… шаман ваш… за девчонками бегает! – сообщил он. – По траве… за холмом…

Люди сразу вскочили и чуть было не подняли тордох на своих спинах и головах. Потом все ринулись на коленях к выходу, оттесняя и подталкивая друг друга. Одни шаманы да Куриль остались на месте. Проснулись и дети. Ничего не понимая, они стали метаться, а потом заорали, стараясь то спрятать лица, то вновь увидеть эту страшную суматоху в темноте и мелькающем свете.

– Малаак[43], – громко и зло сказал Куриль. – Зовите его сюда. И быстрей.

Верхнеколымский шаман задвигал своими мутными глазами, заворочал языком в опущенном углу рта. Вышел скандал, и он не знал, что делать.

А Токио между тем летел по скату холма вниз, догоняя сразу двух девушек, которые уж не могли ни остановиться, ни разбежаться в стороны. В руках у Токио был мох. Вот он поймал одну за шиворот и на бегу начал запихивать ей этот мох за воротник. Люди, стоя в рост или на четвереньках, глядели на эту игру так, словно там, на холме, был совсем иной, незнакомый им мир.

Вернулся Токио в тордох, когда все уже вновь заняли места. Он тяжело дышал и весело, как ни в чем не бывало, оглядывал людей.

– Гы, вы не спите! – сказал он и начал снимать рваную шаманскую дошку.

– Митрэ – эй, – недовольно прогнусавил верхнеколымский шаман, – ты к другому, видно, готовишься делу, а первое не закончил…

– А я… я прямо бежал сюда… С разгона и думал заговорить…

– Ну, говори.

– Дайте попить… Вести я обдумал, пока бегал… А в духоте разве обдумаешь? – Он прилип губами к краю кружки и стал жадно, с наслаждением пить воду. – Сын Нявала… будет… хорошим охотником и пастухом… А дочь Хулархи… будет хорошей женщиной.

– Значит, духи Мельгайвача не тронут их? – спросил Куриль. – Это новость. Может, ты передушил духов? Или у тебя сил хватает только на то, что душить наших девушек?

Раздался хохот. Лэмбукиэ, вырвав изо рта трубку, взвизгнула от удовольствия – и если б не задрала ноги, то упала бы на колени Пурамы, который сидел сзади нее. «А что? – подумал Куриль. – Они не боятся морочить головы, а я чего – то боюсь и молчу».

---

[43] Малаак – ну – ка.

– Зря смеетесь… – серьезно и обиженно сказал Токио, смело усаживаясь между Курилем и верхнеколымским шаманом. – Я… я не все сказал. Я задушил духов… пока вы спали и готовились похохотать…

Шум смолк, как озерная волна в притоке.

– Всех? – спросил Куриль.

– Надо бы всех, – подсказал кривоpотый старик.

– Нет, – вздохнул Токио. – Нескольких. Но самых злых. – Он почти незаметно завертел головой, стремясь не пропустить даже шепота, который мог прозвучать и справа, и слева. Куриль, однако, лишь засопел, а старик якут не подал и звука. – Я сказал все!

Наряженный Сайрэ, стоявший позади них, прыгнул в сторону и ударил в бубен.

Так, без перерыва, началось последнее выступление. Все, кто находился в тордохе, а особенно улурочи, жители здешних стойбищ, хорошо понимали, что Сайрэ мог бы и не выступать – он ведь оказался прав и ему теперь можно удалиться с достоинством, которого хватит до конца жизни. Но раз он решился, значит, уж неспроста. И люди наперед знали, на что он решился: конечно, Сайрэ попытается удушить последних духов Мельгайвача – ему, старику, может быть, и не представится больше случая показать свою силу вот так, на глазах у всей тундры…

Сайрэ не стал удивлять людей ни громкими криками, ни грохотом бубна, ни усыпляющей песней. Он камланил для себя, для одного себя, – и потому люди следили за ним как бы со стороны. Но так было только сначала. Камлание длилось долго, старик вдохновлялся все сильней и сильней, и наконец оказалось невозможным следить за ним без сочувствия. Вот поэтому – то тордох и огласился общим негромким криком, когда шаман вдруг простонал и замолк. Тордох будто вымер в одно мгновенье.

Ланга обхватил старика сзади под руки, а Пурама, решивший не выходить больше в круг, не удержался – выскочил на середину и тоже обхватил старика.

У Сайрэ был тяжелый обморок. Возле него суетилось уже четверо мужиков, шаманка Тачана, и Пайпэткэ стояла на коленях перед веревкой в оцепенении – как – никак, а с мужем что – то случилось.

Заволновался и Куриль: здешний шаман старый, и как узнаешь – может, у него кровь пошла внутрь. Но голова юкагиров, волнуясь, одновременно и злился на него: «Выскочил, старый черт! Не усидел. Как же: мало имя его вспоминали…»

Тяжелая тишина, в которой отчетливо было слышно хрипение старика, тянулась долго, но наконец в тишине этой прозвучал слабый голос:

– Сесть хочу…

И люди дружно вздохнули.

– Я… на ровном поле видел следы Когтей, – отдышавшись, начал рассказ Сайрэ. – Прошел еще – и опять следы когтей. Потом различил совсем свежие следы двух шаманов, которые так перепутались, что я ничего не сумел понять. Но и тут были царапины от когтей, и я догадался, что это Токио дрался с духами Мельгайвача. Но я не увидел духов, которых не успел придушить Токио: они, наверное, испугались, стали белыми, как снег, и среди морских льдин их нельзя было увидеть… Токио будет великим шаманом. А Мельгайвач шаман слабый, он не сможет управлять даже теми духами, которые уцелели сегодня… Мы должны преклониться перед шаманами, гостями нашими, которые избавили детей и сородичей наших от бед. Все я сказал. Дайте мне пить, а сами идите к своим очагам.

Сильно потерев руками лицо, Куриль неопределенно крякнул. Как и вчера, он встал и, ничего не сказав, ни на кого даже не глянув, шагнул к выходу. Шаманы остались шаманами!

Направляясь к своему тордоху, где после камлания должны были собраться самые важные гости, Куриль обдумывал – как ему поступить, как сделать, чтобы и шаманам отказать в прощальном обеде и всех людей не обидеть этим отказом. Душу его мутила злость, но злость

тихая и бессильная. «Знаю я ваш шаманский язык, хорошо знаю, – раздумывал он. – Все наоборот у вас: «надо бы передушить всех злых духов» – это значит «не надо». Но раз ты, кукул криворотый, подсказал это и знал, что я все пойму, то теперь мой черед кидать аркан на рога…»

Перед самым тордохом Куриль, однако, решил быть мудрее.

– Ке! – сказал он, раздвинув полы ровдуги. – Ке, гости идут. У тебя все готово? Ты хорошо угощай шаманов. А старика якута и Сайрэ – особенно.

ГЛАВА 4

О большом камлании в Улуро люди потом говорили много и много лун. Вспоминать предсказания знаменитых шаманов приходилось и по воле и поневоле. Зима сменялась летом, лето – зимой, а несчастья не покидали окрестные тундры. То само собой выстрелит новенькое ружье и убьет охотника, отдавшего за него ворох шкур, то болото проглотит доброго пастуха и оставит об этом примету – малахай между кочками, то уйдет из жизни молодая жена, бросив несчастного старика с младенцем и детьми от первой жены…

Сперва редко, а потом все чаще шаманы опять стали валить вину на Мельгайвача. Все упорней и упорней говорили о том, что его слабые духи, которых не передушили на камлании, обрели злую силу и мстят за своих сотоварищей.

Сам Мельгайвач за это время многое пережил. Узнав, что он никогда своими духами не управлял, люди быстро от него отвернулись; потом многие стали желать ему всяческих бед – чтоб он поскорей покинул мир, а духи нашли другого хозяина – где – нибудь за горами – лесами. И хоть он оправдывался, хоть напоминал кому только мог, что никогда настоящим шаманом себя не считал, большое богатство его перестало расти. Постарел Мельгайвач, сдал лицом.

Однажды заехал к нему Кака. Сели пить чай.

– Знаешь, что меня мучает, мэй? – сказал ему Мельгайвач. – Одно сомнение мучает. Уж если столько бед людям приносят мои кровожадные духи, то почему не натравить на них Токио? Он ведь может покончить с ними. Но раз Токио не делает этого – значит, виноват не я, а другие шаманы. Но мне кажется, что ни Токио, ни я тут ни при чем. Слушай: а не портят ли все – таки наших людей духи шамана Чери? Сам подумай – зачем было хоронить его, а сверху на могилу класть камень? Я что хочу тебе предложить? Давай поедем к Прорве и положим на его могилу еще камней и сверху и кругом могилы. А? Как думаешь ты? Попробуем и поглядим, что будет…

– Нет, – отказал Кака, немного подумав. – А если Чери привязал своих духов к могиле? Они же съедят нас с тобой! Нет, ты лучше посоветуйся с шаманом Пэлтэном или с самим Сайрэ… А вот помочь тебе обрести власть над духами – это бы я согласился.

– Полстада отдать за это – как говорил?

– Но ты же снова разбогатеешь! А так, без славы шамана, ты потеряешь больше.

– Нет, пусть стадо походит…

И только ушел Кака – Мельгайвач стал собираться в дорогу. Он решил ехать к Сайрэ; встречаться с Пэлтэном – дело пустое, Кака мог бы и не говорить о нем… Понимал Мельгайвач, что показаться в Улуро, да еще в тордохе шамана, разбившего всю его жизнь, – значит унизиться до конца. Тем более нелегко ехать, что придется встретиться с Пайпэткэ, которая стала женой шамана Сайрэ, – каждому из троих будет тяжко, неловко, тесно… Дело, однако, слишком серьезное, чтобы со всем этим считаться. Даже больше того, с этим давно не надо было считаться. Кака путал его. Вот уже больше двух лет он предлагает одно и то же: или половина стада, а стадо огромное, или унижение перед Сайрэ. И Мельгайвач содрогался – слишком дорого ценится унижение. Но сегодня он словно прозрел: да ведь Кака вымогает, запугивает и вымогает! Все надо было сделать наоборот, и сделать сразу, давно. Ведь если поехать к Сайрэ, все обернется как нельзя лучше: и стадо останется, и травле придет конец, а может случиться и так, что обольщенный старик захочет стать покровителем. Есть у унижения другая цена, есть! Да к тому же и само унижение – то не вечно – дряхлый Сайрэ долго не проживет, а смерть его можно будет использовать как угодно…

С такими мыслями, ободренный, Мельгайвач и погнал оленей по крепкому, как головка сахара, снегу. За всеми этими предчувствиями удач уже стояла и более близкая радость: вот

вернется он из Улуро – и первое, что сделает, это молча повертит перед носом черта Каки своей огромной хваткой рукой… Лютый холод был ему нипочем: оделся он славно – два таких же мороза не одолеют, да и ветра нет в тундре. Глянув на яркие звезды, впервые за эти долгие годы повеселевший шаман – не шаман Мельгайвач – затянул песню, как заправский каюр.

Не знал Мельгайвач, однако, что приедет он не совсем кстати.

Вот уже несколько суток на берегах озер трещали бешеные морозы. Лед на Малом Улуро то и дело ухал – будто предупреждая людей, что земля может лопнуть и поглотить в свой нижний мир все живое. Еще до этих морозов стойбище опустело – все уехали дальше от берега, где всегда тянет железным ветром, кто в тундру уехал, кто в лес. Шаману Сайрэ незачем было трогаться с места: он не охотился и не пас оленей, еды в мешках было достаточно, а люди все равно вернутся сюда… Оставшись в одиноком тордохе вдвоем, Пайпэткэ и Сайрэ или молчали, слушая грохот озерного льда, или принимались за привычное дело – за упреки и ссоры. Чем же заняться еще? Ну, вытащит Пайпэткэ полог, кое – как собьет с него иней и лед – и опять к очагу. А очаг – то еле горит, разжечь бы его посильней – может, и повеселело бы, но тальника заготовлено мало, а зима только на середине… Пайпэткэ была никудышной хозяйкой. Да она и не думала стать хорошей, а Сайрэ упрямо надеялся – и то ругал ее, то учил, то просто ворчал. Первое время молодая жена сносила все это, а потом язык ее развязался…

Пайпэткэ не помнила ни матери, ни отца. Бездетный дядя Амунтэгэ не умел возиться с ребенком, тетка же Тачана невзлюбила девочку сразу и на всю жизнь. Под градом ругани и оплеух прошло ее детство, да что оплеух – если бы навсегда оставались на теле следы хворостины, то Пайпэткэ была бы вся полосатой. Никогда в жизни она не надевала новой одежды – ей перешивали старье и обноски. У очага было ее постоянное место, она ломала тальник, носила воду – но это считалось прогулками, а ведь чтоб вскипятить чайник, тальника нужно не меньше вязанки. И лед таскала, и шкуры скоблила… Гнула спину, страдала и мало спала девочка, но выросла очень здоровой и крепкой. В детстве на нее никто не обращал внимания, однако потом люди как – то вдруг обнаружили, что это уже не девчонка, а девушка, причем заметная, очень красивая, но, правда, и странная. Лицо у Пайпэткэ было белым – белым, как шкурка песца, а еще белей были зубы – белее самого чистого снега. Черные маленькие глаза на таком лице могли свести с ума самых достойных парней; эти глаза безостановочно двигались, они как будто жадно и боязливо искали что – то необычное и нездешнее… Если бы ее дядя не женился на Тачане, то женихом Пайпэткэ стал бы внук Тачаны. Однако дядя женился; оказались родственниками и все другие люди Улуро. Однажды с Индигирки приехал очень хороший парень. Увидел ее – изменился в лице, а послушал ее разговоры – нахмурил брови. Уехал жених: понравились, но и насторожили его эти бегающие глаза, да и вообще она показалась ему неуравновешенной, непонятной. Потом появился купец Потонча, а вместе с ним и слухи о каких – то его тайных порывах и тайных мыслях. И стоило болтливому Потонче чуть – чуть приоткрыть эти тайны, как Пайпэткэ метнулась к нему – и уж ничего не понимала, ни в чем не отдавала себе отчета… Вторым был шаман Мельгайвач. Этот тоже привез с собой слухи о тайных делах, только был он очень уравновешенным, очень уверенным и очень красивым… Знал все это отчаянный, резкий в словах Эргэйуо, но она отказала ему – и не потому, что он оказался моложе ее, а потому, что в сравнении с Потончей и шаманом – чукчей он был маленьким, незаметным парнишкой, который и сказать – то ничего интересного не умеет. И она не считала бы его женихом, но он оставил на ее сердце шрам: Пайпэткэ казалось, что именно ее отказ заставил Эргэйуо отчаяться до конца и совершить страшное дело…

Потом было раннее – раннее утро, которое она никогда не забудет. Несчастливая, неудачливая сирота в тот рассвет собрала свои потертые шкуры – подстилки и выползла из тордоха. Она увидела солнце, но такое, какого она не видела никогда: туча отрезала верхнюю половину красного шара. Серый туман застилал тундру, серым было и небо – и ей показалось, что солнце не встает, а садится или что все на свете перевернулось кверху ногами… Прячась от людских

глаз – обходя тордохи стойбища сзади, с потертыми шкурами на плече, перебралась бедняга в тордох к шаману Сайрэ.

Жизнь Пайпэткэ с гадким, уродливым стариком поначалу казалась ей таким жутким сном, который не протянется долго и все равно оборвется. Сон, однако, не обрывался, а Сайрэ относился к ней ласково, часто как к дочке, и она поняла, что здесь все – таки лучше, чем у старой сатаны тетки. Хуже стало, когда наступила осень: уходить из тордоха надолго она не могла, спать хотелось все больше и больше, а лежать рядом со стариком было самым тяжким мучением. Как долго на земле живет человек – это она поняла к весне: зима для нее тянулась также медленно, как все ее годы, прожитые у Тачаны. А вот лето принесло радости – это когда собиралось большое камлание. Сайрэ тогда принарядился, помолодел. Люди всячески выражали ему почтение, приносили подарки. Пайпэткэ было приятно. Но лучше б радости не приходили: кончилось лето – и во всем своем ужасе встало будущее; Пайпэткэ поняла, что больше никогда и ничего хорошего не случится – напомнив о себе людям, шаман будет с каждым годом стареть и стареть, а потом станет беспомощным, неподвижным. И так пройдут ее годы. После сиротства в детстве, сплошных обид, унижений и мук в лучшую пору жизни – еще и одиночество в старости… Пайпэткэ вспомнила, что не так давно она была очень решительной. И, начав упрямо думать, что же ей делать, она пока что стала поругиваться со стариком. Время шло, а выхода она не находила.

И вот неожиданно, в тот самый день, когда из стойбища укочевали последние семьи и тордох Сайрэ остался брошенным среди безлюдного мира, под страшный грохот озерного льда, Пайпэткэ почувствовала, что радость все – таки может прийти. Словно сам бог подсказал ей желание – желание ощутить в животе тяжесть. Мысль о ребенке захватила ее властно и целиком и словно озарила всю ее изнутри. С этой мыслью она начала пересиливать отвращение и прижиматься к дряхлому старику, с этой мыслью она во сне бродила по цветущей тундре, с ней вставала, с досады ссорилась с мужем и в задумчивости шевелила угли в затухающем очаге…

– Ты чего это, ке, опять шкурки перебираешь? Лежат они в мешке – ну и пусть лежат… – с этих слов Сайрэ и началась нынешняя перебранка.

– Гляжу, из чего пеленки можно бы вырезать…

– Пеленки! А огонь совсем угасает, и чайник пустой.

– А зачем тебе огонь и горячий чай? Все равно ты бодрее не будешь…

– Тебе бы только одно…

– Да, одно. А тебе… тебе и одного не надо! Прежде чем брать молодую жену, нужно было подумать – справишься ли.

– Я же не сам – люди меня попросили. От злых духов тебя оградить…

– Меня? Люди просили? От каких духов?

Старик не проговорился: дело прошлое, и в свое оправдание можно было сказать самое главное.

– Ты же сидела тогда на камлании! – ответил он. – От духов Мельгайвача оградить.

– Что? Это так было со мной? – Пайпэткэ бросила на пол пыжиковые шкурки. – Люди просили? А людей натравил ты! Это значит, что ты с людьми делаешь что захочешь?.. Глупая, глупая, глупая… – Она закрыла лицо руками, и из – под ее ладоней на грудь покатились слезы. – Тачана меня наказала, – отняла Пайпэткэ от лица руки, – а я подчинилась ей по привычке. А если бы подумала лучше – ох, какой у меня слабый ум! – если бы догадалась людей расспросить, то всем вам назло ушла бы в лес, к стойбищу Мельгайвача, встречалась бы с ним. И хоть немного пожила бы в радости. И был бы теперь у меня ребенок…

– Да-а… – проговорил Сайрэ, раздумчиво моргая одним глазом. – С твоим умом что – то не то… Теперь я совсем хорошо вижу, что духи Мельгайвача жили в твоем теле. А знаешь ли ты, чьим ножом Эргэйуо ударил девочку? Ножом Мельгайвача. Поезжай к нему и спроси: менялся ли он с Эргэйуо ножами? Он подтвердит… А знаешь ли ты, почему не согласилась

стать женой Эргэйуо? Потому что и в нем и в тебе жили духи, и ты не сама отказала ему. И Мельгайвач не мог взять тебя в жены – не мог же он жениться на своих духах! О, ты о себе только думаешь и ничего не знаешь…

В глазах Пайпэткэ потемнело. Она беспомощно опустилась на шкуры возле мешков.

– …А когда тебя прятали в мой тордох, то спасали детей, – продолжал старик. – И не ошиблись люди: на большом камлании что сказали? Что я был прав…

Если бы с Пайпэткэ случилась одна – вот эта беда, ей бы сейчас стало легче. Когда знаешь, с какой стороны подкралось несчастье, то уж непременно узнаешь, куда бежать. Но вся жизнь Пайпэткэ была словно накрыта черной ровдугой, и от еще более черной шаманской разгадки – путаницы ей стало совсем плохо. Так плохо, что она ничего уж не видела перед собой, ничего не могла услышать.

А как раз в это время донесся звонкий скрип полозьев и хруст снега под копытами бегущих оленей.

Сайрэ тревожно вскочил.

– Ке, встань… Потом… Ке… Гости… шкуры… в мешок… – зашептал он у самой двери.

Но Пайпэткэ так и не встала.

А Мельгайвач уже показался в тордохе.

– Гость? Мельгайвач? – отступая, спросил Сайрэ. – В такой мороз и ко мне?

– Рапыныл?[44] – поздоровался тот, сбивая с кукашки иней.

– Меченкин[45], – ответил Сайрэ, внимательно разглядывая чукчу. – Я так понимаю – только большая нужда заставила тебя ехать ко мне.

– Очень большая нужда, – подтвердил гость. – Ехал к тебе, чтоб совет получить, чтоб поговорить с глазу на глаз, рот ко рту, уши к ушам, лицом к лицу.

– Что ж! Если приехал – значит, и говорить будем. Садись. – Сайрэ расстелил шкуру. – Ке, – ласково сказал он жене, – гостю с дороги надо бы чаю согреть.

Пайпэткэ встала. Лицо у нее было чужим, почти мертвым, она не взглянула ни на Мельгайвача, ни на мужа – и стала бросать на угли тальник, даже не посмотрев, есть ли в чайнике лед или вода.

– Я готов слушать, – сказал Сайрэ, усаживаясь поодаль от гостя. – Жена моя мешать нам не будет, у нее свои, женские заботы и мысли. – Старик явно давал понять Мельгайвачу, увидевшему шкурки возле мешков, что жена вроде бы готовится стать матерью. Пайпэткэ поняла это и вдруг зло, с ненавистью глянула на старика. Но промолчала.

– Что – то ты, хайче, одиноко стал жить, – проговорил чукча, сделав вид, что ничего не заметил. – Люди укочевали, а ты остался. Разве люди боятся тебя, разве гонят так, как меня?

Сайрэ боязливо поглядывал на огромные руки гостя, которые он положил на колени, растопырив толстые пальцы; кто его знает, зачем он ехал – схватит за глотку, на нарту прыгнет, а Пайпэткэ и с места не сдвинется…

– Я хотел бы дальше послушать тебя, – сказал он, доставая трубку, чтобы скрыть робость. – Пока не пойму, к чему ты разговор клонишь.

– Нет, я хочу сказать, зачем тебе, старику, и твоей молодой жене таскать лед, копать снег, чтобы найти дрова? Жил бы с людьми, они бы все для тебя сделали. Такому шаману, как ты, разве отказать в помощи можно?

«Так, – подумал Сайрэ с облегчением, – ласково подъезжает. Может, начнет унижаться, а потом проситься в друзья? Ему это выгодно…» Но сказал он другое:

---

[44] Рапыныл? – Как живешь? (чукот.).

[45] Меченкин – Хорошо (чукот.).

– Когда олень жиреет, его режут, люди его съедают и духи его пожирают. А тощего старого оленя убивать не будут – годится запрячь. Ни люди, ни духи не захотят есть старое жесткое мясо. Я решил быть тощим оленем.

Ответ этот не понравился Мельгайвачу, и он, улыбаясь, сказал:

– Тощий олень мерзнет и голодает. А жирный потеет и ягель жует. Я предпочел бы ягель жевать. А чем всю жизнь мучиться, лучше волку в пасть броситься.

– Ты не бросился бы. Люди ведь не бросаются, а мучения переносят большие. Таким бог и создал человека… Что еще скажешь, мэй?

Мельгайвач чуть не засмеялся в ответ: «Так это ж люди!..» Нет, у него только загорелись глаза, но он этого не сказал. Однако старик понял его без ошибки. Понял – и сразу нахмурился, начал медленно доставать из кармана кисет.

Чукча перестал улыбаться. «Тут, кажется, дело сложней, – соображал он, следя за тем, как неторопливо и деловито старик юкагир набивает пальцем табак. – Может, он проповедует бедность?.. Он и сам живет не богато. Если все это так, то опасность большая. Люди считают его своим, а он чует силу – и ломится, и ничего не боится…»

Ниже холма оглушительно треснул лед. Озеро будто раскололось до самого дна. Мельгайвач вздрогнул. Но испуга его никто не заметил – и он вздохнул, тоже достал трубку, только красивую, с медными кольцами, потянулся за горящим прутиком к очагу.

Молчание длилось: старик курил, разглядывая одним глазом разорванный, незашитый плек[46], – Сайрэ как будто давал шаману – чукче время хорошенько подумать о своем невысказанном ответе. И Мельгайвач думал. Он видел жилье своего инакомыслящего врага – и на душе его было тяжко, тоскливо. Тордох сплошь обледенел изнутри, вокруг дымового отверстия, будто клыки моржа, висели сосульки; то место, где ставили полог и спали, было похоже на лежбище старого, безразличного к жизни зверя. Богатый чукча с горькой улыбкой посмотрел и на мешки, которыми были заставлены углы тордоха. Ему в голову вдруг пришла мысль: какая бы получилась гора из мешков, если бы он снял шкуры со всех оленей своего стада, и как бы выглядела она рядом с этим несчастным богатством Сайрэ… И только сменилась горькая улыбка самодовольной, как глаза его расширились от удивления, вытаращились. «Да откуда ж у него взялось столько мешков? И чем набиты они?..» Мельгайвач сразу вспомнил старую жену косого шамана, вспомнил тордох, в который он заходил и в те времена, и позже, – вот этот самый тордох. Все же здесь было не так: не видел он этих мешков, не видел этих ящиков с черными штемпелями!.. И немедленно взгляд его смело остановился на лице Пайпэткэ. До сих пор он сдерживался, не хотел глядеть на нее, чтобы она не отвлекла его мысли от главного, от разговора с Сайрэ. Нет, лицо у нее не стало рябым, как у казака в Верхне – Колымске, которого он пожалел когда – то, нет – ноги и руки целы, только глаза успокоились и не мечутся.

«Так это ж он на мне, на моем несчастье все заработал!.. – Мельгайвач чуть не стукнул себя по лбу. – И мешки набил, и молодую жену – красавицу арканом поймал… Так как же теперь понимать его рассуждения? Значит, в словах о тощем олене – ложь? Или он так говорит по привычке, не замечая, что поступает наоборот? А может, он решил все – таки разбогатеть?..»

Но Мельгайвач не стал искать ответа на эти вопросы. Он почувствовал облегчение, приятное, предвещающее добрый конец облегчение.

– Да, ты спросил, Сайрэ, что я еще хотел бы сказать? – заговорил он, однако, тихим, заунывным голосом – будто в душе у него была не радость, а смертная печаль, которую он до сих пор скрывал или которую только сейчас до конца осмыслил. – Сижу вот – припоминаю, с чем ехал к тебе. Знаешь, апай – если ударить камнем по куску льда, то лед раздробится на части и обратно его не соберешь. Ты большую правду сказал – и мысли мои мелкими стали… чего

[46] Плек – укороченная камусовая обувь.

уж тут говорить: не по – божьему я живу, хоронить меня будут без почестей… А как смыть грехи? Вот ты подскажи, апай, как это сделать.

– Грехи искупать и оставаться богатым? – вынул изо рта трубку Сайрэ. – Не получится это. У нашего Куриля получилось бы – если б он совершил какой грех. А у тебя не получится.

– Да вот и я думаю – трудно… Что же мне делать? Кака говорит: надо бы власть над своими духами взять, на хорошее дело их посылать – и люди это увидят, простят…

– Простят… – подозрительно повторил Сайрэ. – А как взять эту власть – он не сказал?

– И это сказал – поможет. Но шаман – то он слабый, да и за труд просит столько, что хоть хватай себя за косу и волосы рви. Половину стада за это просил.

– Сволочь, – сказал Сайрэ. – Да, ке! – обернулся он к очагу. – Ке, чай, наверно, готов. Ты налей нам, да потом полог поставь, да в жирнике что – то фитиль плохо горит… Гость, видно устал. А мы ляжем и тихо – спокойно поговорим.

– Это бы хорошо, – сдерживая совсем уж большую радость, согласился чукча.

В свете огня лицо Пайпэткэ было розовым, глаза от дыма сделались влажными и потому казались живыми, юными, невозможно красивыми.

Когда Мельгайвач и Сайрэ заговорили о том, какого оленя скорее убьют – жирного или тощего, она вся задрожала, поняв это по – своему. Костер, горящий жирник, мешки, обледенелый шатер тордоха – все поплыло и закачалось в ее глазах. Но потом негромкий смиренный голос Мельгайвача остановил эту качку. А когда и старик заговорил мирно, ее вдруг охватило странное тревожно – радостное оцепенение. Она не могла ни понять, ни осмыслить – что же такое случилось в мире; она только чувствовала, что где – то, в каких – то самых глухих потемках прорезался яркий голубовато – белый луч света. Наконец Сайрэ сказал, что ляжет рядом с Мельгайвачом, – и у нее заколотилось сердце. Положив на пол широкую доску, поставив на нее деревянный поднос с кусками юколы и сняв с крюка чайник, Пайпэткэ посмотрела прямо в глаза гостя, в глаза человека, который не захотел взять ее ни третьей, ни четвертой женой, но который своим приездом принес ей радость, долгожданное предчувствие перемен. От этого жаркого, благодарного взгляда в душе чукчи что – то перевернулось: он замер, затих, глаза его перестали моргать, а подбородок вздрогнул от движения кадыка.

Сайрэ хватило бы и одного косого глаза, чтобы увидеть все это.

Разлив по белоглиняным кружкам чай, Пайпэткэ бросилась устанавливать полог. Постель она стелила старательно, аккуратно, понимая, как важно все сделать хорошо и приметно. Раньше ей было все равно, на чем и как спать, а сегодня первый раз в жизни она подложила под ави[47] двойной ряд стелек – шкур, чтобы всем было мягко. Нетерпение пожирало ее, и, чтобы скорее собраться с мыслями, успокоиться, она разулась, разделась и юркнула под одеяло в одной парусиновой грязной рубашке.

Мягкая оленья шерсть приятно ласкала босые ноги, и Пайпэткэ почувствовала, что теперь ей стало совсем хорошо.

Пайпэткэ верила в бога и даже знала имя его[48], а шаманской веры не понимала, боялась ее. Поэтому – то сейчас она не хотела и не могла припоминать то, что знала и что рассказал ей Сайрэ. Она боялась запутаться и снова увидеть себя скрученной по рукам и ногам. Ей было легче и желаннее думать по – своему, проще, надеясь на божью милость… Вот они оба – Мельгайвач и Сайрэ, теперь уж почти не враги, – вместе вышли наружу, чтобы дать корма оленям, вот сейчас они вместе вернутся и лягут рядом. Они заведут разговор – нет, не о ней, а о делах, о себе, о будущей жизни. Они все до конца объяснят друг другу, все поймут и все увидят, как есть. Один из них очень богат, он лучше всех знает о ее чувствах к нему и видит несчастье, другой стар и мудр, он убедился, что жизни нет и не будет, он знает, что люди не бросят его…

---

[47] Ави – одеяло из оленьей шкуры с мешком для ног.

[48] Юкагиры в те времена имели очень смутное представление о Христе и о христианских легендах.

Проснувшись, оба они удивятся: а почему и зачем спит с ними рядом племянница Амунтэгэ? И кто – то ласково скажет: «Нарта готова, олени ждут; сейчас ты будешь в лесу, в кочевье охотников, а хочешь – в тундре, среди пастушьих семей… Возьми, что нужно тебе, а потом мы еще привезем…»

Так она думала, убаюкивая себя, и не заметила, как заснула…

Холодная, костлявая коленка растолкала ее колени, рука пробиралась под спину.

– Погрей, совсем я замерз…

Пайпэткэ выгнулась, точно большая рыба в руках человека, хватившая смертельного воздуха.

– Что ты? Чего это так? Я же замерз…

Красный огонек трубки подсказал Пайпэткэ, что Мельгайвач рядом, и она, опомнившись, проговорила: – Обнимаешься… при гостях…

Все трое долго молчали.

Стыд – оправдание. Но Пайпэткэ все равно сильно встревожилась. Не виновата она, что так резко и шумно оттолкнула Сайрэ, – само собой это случилось, спросонья. Но ведь старик может подумать, что она нарочно при Мельгайваче высказала свое отвращение. Что же будет теперь?

Немного согревшись, старик Сайрэ приподнялся и сел. А молчание продолжалось. Но вот в кромешной тьме засветились уже два потрескивающих огонька, и у Пайпэткэ отлегло от сердца.

Шаманы курили, а со стороны казалось, что какое – то чудище, может быть, самый свирепый дух, корчит рожу, прищуривая то один глаз, то другой…

– Апай… – тихо и доверительно заговорил Мельгайвач. – Скажу тебе правду: я никогда в жизни не видел ни одного из всех своих келе[49]. И не знаю я, какие они – с рогами, волосатые или голые. Я даже не слышал топота их копыт. Но ты их видел, гнался за ними. Я этому верю. Одному шаману обманывать можно – как обманывал я. Но когда говорят четыре шамана, говорят при людях… Если б все это было неправдой, разве бы столько людей по всем тундрам из рода в род передавали такую неправду? Да я и сам видел, как один охотник ходил только к тем капканам, в которые попадались песцы; к пустым не ходил, а я проверял – и верно: они были пусты… Духи есть. Они подсказывают… Но ты скажи, какие духи мои?

– Да… – протянул в ответ Сайрэ. – Не можешь ты вдохновение получить, не можешь. Потому и не видишь келе…

Сайрэ не ответил Мельгайвачу – это Пайпэткэ хорошо поняла. Но ей было теперь совсем безразлично, кто и как отвечает, тем более что она уже наслушалась всяких толков о духах. Главное, беседа мужчин уже не сулит ничего плохого.

– …Отдай своих духов Каке, – продолжал старик, – отдай. Что тебе делать с ними? Вдохновение – то не приходит. Пусть Кака мучается. А тебе легче будет…

На озере опять раскатисто ухнул лед.

Наступило молчание. Мельгайвач просунул руку под полог и выбил о землю пепел из трубки. Он нащупал кисет, стал снова набивать чубучок табаком.

В этой – то тишине Пайпэткэ наконец спокойно и крепко заснула. Уж если разговоры шаманов казались ей мирными, добрыми, то разве могло насторожить ее их молчание?

Но шаманы не зря подолгу молчали.

Совет хозяина, которого гость называл ласково – дедушкой, был страшным советом. И Мельгайвач думал о дедушке вовсе не ласково. «Разоряет, косой сатана… – Чтобы не выдать волнения, он старался тихо дышать, а прикуривать не спешил, боясь, что огонек осветит лицо. – Отдать духов Каке! Да меня же ощиплют купцы, как жирного гуся. Со всех сторон налетят, и

[49] Келе – духи (чукот).

Кака – первый. Без бубна я ничего не стою… А говорят еще, что колченогим ума не хватает. Этому – то хватает. Двойную выгоду чует: меня распотрошит до конца – прославится, начнет воевать с Какой – еще столько же мешков затащит в тордох. И за Пайпэткэ отомстит. Вот они и разговоры о том, что жирных оленей режут… Ладно – посмотрим».

– Слушай, Сайрэ, – сказал он. – Отдать Каке духов я не могу. Нет, не отдам. Пусть будет так, как сейчас. Ты ведь нападать на меня больше не станешь? Я вот сам приехал к тебе, приехал мириться, совета просить, я лег с тобой рядом, зла тебе не хочу. А начнешь опять нападать, что про тебя скажут люди? Это уже не шаманство будет, а месть… И еще вот что тебе скажу. Ко мне как – то приезжал русский – тогда у меня гостили Куриль и Кака. Так вот, каюр говорил, что тундру портит русский шаман Чери. Сам – то шаман умер, и могилу его придавили камнем, но духи могут и вылезти… Ты хорошенько подумай. Может, зря меня все обижают? А духов шамана Чери не сравнить с моими. Спроси охотника Пураму – что о нем говорил каюр.

– Знаю, что говорил каюр, – сказал Сайрэ. Сказал – и задумался. Огонька в трубке Сайрэ уже не было, но он продолжал с силой сосать ее – и Мельгайвач догадался, что юкагирский шаман сейчас решает самое главное. Молчать было нельзя.

– Дай мне, Сайрэ, вдохновение, – попросил он. – Дай. Подскажи, как его получить. Я завтра же пригоню к тебе четверть стада… нет, половину: лучше возьми ты – Кака обманет меня, а тебе я верю, ты великий шаман. Наймешь пастухов и заживешь с молодою женой лучше, чем я…

Сайрэ снова задумался, но не надолго.

– Чери – не шаман, – сказал он твердо. – Я никогда не видел духов его, и никто не видел. А разговор о них ведешь ты один. Отдай своих духов Каке. Бедности же не бойся – совсем кумаланом не станешь. Может, придется двух жен прогнать и остаться с одной. Но это лучше, чем получить вдохновение.

– Почему ты так говоришь? – дрогнувшим голосом спросил Мельгайвач.

– Знаю, что говорю. Могу рассказать тебе, как я получил вдохновение. Полез я по крутой едоме, чтоб разорить гнездо сокола. И уже рукой дотянулся. Но тут у меня все потемнело в глазах, я еле удержался на глине. В рот, на одежду, за воротник хлынула кровь. Чую, что половину света не вижу. А сокол бьет меня, бьет… Я половину света не вижу, но в голове, внутри наступило какое – то прояснение…

– Что ты говоришь такое, Сайрэ? – испуганно прошептал Мельгайвач.

– А то, что не выдержишь всех этих мук…

– Омовение кровью совершить предлагаешь?

– Я? Господи! Мельгайвач… – Сайрэ перекрестился, толкнув гостя локтем. – Да как же ты слышишь то, чего у меня в голове нет? Я тебе совет уже дал и совсем другой. Но ты спрашиваешь, как можно получить вдохновение. Я отвечаю и ничего не советую больше. Да тебе это могли сказать и другие… А если в моих словах слышишь зло, то лучше нам лечь поспать и с миром проститься.

– Нет, апай, я отдаю половину стада, и не за простой разговор отдаю – за совет.

– Половину стада… – пробурчал Сайрэ. – Не нужно мне ни половины, ни всего стада. Решишься живот попортить, придет вдохновение – подарок возьму. А наперед не возьму и пачки иголок… А теперь слушай, что я скажу. Пырнуть себя ножом – дело не хитрое. Перед этим надо все тайны раскрыть, а уж потом я мог бы сказать, что делать дальше.

– Ох, Сайрэ, много грехов у меня, много, – вздохнул Мельгайвач. – Слушать, так всей четвертой луны[50] не хватит. И с чужими женами спал, и молоденьких девушек совращал; да таких грехов я уже и пересчитать не могу. Хуже другое… А все это началось с бубна…

[50] Четвертая луна – декабрь – месяц, когда солнце совсем не показывается над горизонтом: счет ведется с сентября до мая.

– Что – решил тайны открыть? – не сдержал испуга Сайрэ. – Может, лучше договоришься с Какой?

– Нет, я буду шаманом! – со злым упрямством сказал Мельгайвач.

– Смотри. Ты не ребенок. Если случится что – я ни при чем.

– С бубна все началось, – громче и упрямее сказал Мельгайвач. – Пел я о своих хороших оленях, а их у меня было мало – и решил постучать в бубен. Понравилось мне, еще стал петь и бить в бубен, а руки у меня большие, и звон получался громким. Это, наверно, понравилось духам – вот они и вселились в меня. Но я духов не видел. А тут у Петрдэ сдох олень, и, кажется, ты первый заметил следы от моей яранги. И с тех пор все беды начали сваливать на меня. Умрет от болезни ребенок – говорят, что я его съел, прибьются к моим оленям чужие – духи мои их привели, поломалась нарта, жена от мужа ушла – я виноват…

– Э, мэй, не так говоришь, – перебил его, прячась под одеяло, Сайрэ. – Что делал, то и рассказывай.

– К тому говорю, что сперва мне было обидно…

– А потом ты начал просить выкупа: «Отдай последнего оленя – а я прикажу духам не делать зла»?

– Было и так, – согласился чукча.

– И хуже было, – сказал Сайрэ, – сам призывал делать зло.

– Призывал…

– И мог ножик подсунуть…

– Нож? Какой нож?

– С белой ручкой. Которым Эргэйуо ударил девочку Халерху.

– Что? Господи…

– Ты безбожник – не вспоминай господа.

– Но ведь я просто менялся… А откуда ты знаешь это? Сайрэ! Ты не человек…

– Я шаман. Говори все, что делал. Я лягу, буду дремать; соврешь – я перестану дремать и поправлю. Лучше уж не вертись.

Неожиданность эта подрубила под корень Мельгайвача. Он понял, что у него нет больше сил противостоять старику юкагиру. И в то же время он испытал великую зависть к нему. А зависть туманит ум; она ожесточает и всегда подсказывает одно и то же: ты можешь – и я смогу, смогу даже лучше тебя.

Мельгайвач, ничего не скрывая, стал говорить.

А на воле тем временем начиналась поземка. Тучки сухого снега то и дело наскакивали на одинокий тордох, шурша, облизывали его и катились дальше по скату холма. Ветер дул с озера, а такой ветер самый жестокий. В тордохе зашевелился полог. Костер давно уж потух… Перемена погоды не настораживала Мельгайвача – он ничего не слышал, кроме своего собственного одинокого голоса.

Сперва он говорил с остановками, припоминая давнее прошлое и даже раздумывая, как это мог он совершить такое гадкое дело. Но потом вспоминать стало легче, а раздумывать больше уж не хотелось, и речь потекла быстро и ровно. Покачиваясь, даже распевая слова, он говорил, говорил, говорил. И лишь когда вспомнилась совсем юная, белолицая, плохо одетая Пайпэткэ, слова его будто наскочили на крутую едому. Скорее, чтобы Сайрэ не заметил этой заминки, Мельгайвач с усердием принялся перечислять, что он ругал в природе – волну, пургу, дождь, луну…

Ветер уже сильно давил на тордох, а пурга шумела вовсю, когда он облапил лицо руками и ткнулся головою в колени.

– Сайрэ, – тихо сказал он. – Сайрэ… Пусть меня по дороге домой растерзают волки, пусть я замерзну и останусь без рук и ног, но я теперь буду добрым шаманом. Дай мне вдох-

новение, дай. Как ты, буду подарки брать за хорошее дело, как ты, буду приказывать духам своим нападать на злых духов…

– Ты все сказал? – спросил старик, не шевелясь.

– Нет. Я не открыл тебе еще одну тайну. Но я открою ее, когда сяду на нарту.

– Пусть будет так… Но после того, что услышал я, трудно сказать, придет ли к тебе вдохновение.

– Придет. Я знаю. Ты только скажи, что делать дальше, как и когда делать.

– Осталось немного… Ладно, расскажу, если так просишь. Ты сделаешь это в первый весенний день, когда увидишь проталину. Ножом проткнешь кожу ниже пупка – насквозь. Будет кровь. Этой кровью ты вымоешь руки и щеки. Смоешь грехи. Но это не все. Потом, от появления новой луны до конца луны, ты не должен ничего есть, кроме жиденького мясного навара. Голодать будет трудно, но если не стерпишь – вдохновение придет и быстро уйдет…

И еще Сайрэ дал много разных сложных советов и указаний.

Выслушав все, Мельгайвач долго сидел молча, погрузившись в раздумье. Но потом он встал на колени, вынул трут, кисет – закурил. Стал одеваться.

– Ты что это, мэй? – зашевелился Сайрэ.

– Поеду я. Мне надо ехать.

– Пурга бьет. Куда ж ты в такую погоду? Ложись, отдохни. Не спавши, не евши – как можно трогаться в путь?

– Нет, я поеду. У меня теперь все пути трудные… Сайрэ, если я стану шаманом, всю жизнь буду делать тебе добро. А когда захочу уехать в тот мир, когда надену на шею петлю, то прикажу людям не забывать твое имя, прославлять тебя – доброго шамана и мудрого человека. Проводи меня, добрый старик.

Ничего больше не возразил, не сказал Сайрэ. Он встал, обулся, выбрался из – под полога. Мельгайвач немного замешкался. Раскаяния размягчили его, и он потянулся рукой к голове Пайпэткэ, чтобы погладить ее. Но нет, не погладил, отдернул руку. И пополз вслед за хозяином.

– Апай, – сказал он тихо, возле сэспэ, – уезжаю и хочу открыть грешную тайну. Присоедини, могучий старый шаман, этот мой совсем непростительный грех к тем грехам, которые ты теперь знаешь. Не воровал я и, кроме этой тайны, не скрыл ничего. Может, мелкое что – то забыл.

– Говори.

– Пусть, апай, об этом тебе расскажет твоя жена Пайпэткэ. А я кровью смою и этот грех.

– Хорошо, поезжай.

Мельгайвач еще путался в полах ровдуги, отрывая прижатую ветром сэспэ, а шаман Сайрэ уже потихоньку крестился.

Пайпэткэ спала долго. Но открыла она глаза не потому, что выспалась – ее разбудили холод и храпенье Сайрэ. Она выскользнула из – под одеяла, села на свернутую доху, лежавшую под головой, и замерла.

Мельгайвача на постели не было. В одно мгновение Пайпэткэ поняла, что его нет и за пологом, нет и на улице за тордохом. Однако, не веря самой себе, она сейчас же с великой осторожностью перескочила через спящего старика, оттянула полог, глянула в щель, прислушалась. Очаг не горел, нигде не было видно огонька трубки; в незаткнутом онидигиле шумела пурга, осыпая снегом очаг и треногу; по тордоху гулял лютый мороз. Сильно храпел старик. Босая, неодетая, Пайпэткэ выбралась из – за полога – и кинулась к выходу.

На воле гудела пурга. Небо чуть посерело, была середина дня, но что – либо разглядеть не могли даже молодые, жадно ищущие примет глаза: так и сяк проносились потоки снега, вздымая возле тордоха густые тучи. И все – таки Пайпэткэ зашла в неглубокий сугроб, наклонилась и стала искать следы. Но следов не было никаких – ни новых, ни старых: все давно зализала пурга. А Пайпэткэ не сдавалась: она нагнулась сильней и разглядывала, разглядывала

сугроб. Наконец она увидела свои голые ноги, вокруг которых извивались бурунчики снега, – и бросилась обратно в дверь.

В тордохе Пайпэткэ остановилась возле стола – доски и треноги. Очаг выглядел жалким, покинутым – над останками костра, притрушенными снегом, одиноко висел пустой крюк – сускарал[51], чай в неубранных кружках замерз. Эта заброшенность и противное храпение старика за пологом заставили Пайпэткэ вздрогнуть. Но, вздрогнув сердцем, она задрожала и всем телом, да так, что руки тотчас вскинулись к груди и начали трястись, хватая воздух. Дробный стук зубов рассыпался по тордоху. И был страшным дикий, прерывистый смех, вдруг перекрывший и нудный гул непогоды, и тягучее храпение старика. Пайпэткэ хохотала все сильней и сильней и зубами стучала все громче и громче – и это бы кончилось чем – то еще более страшным, если бы не Сайрэ, выскочивший из – за полога.

Кривоногий Сайрэ засуетился, забегал вокруг жены, боясь сказать или сделать что – то неверное. Но он нашелся и оборвал этот смех:

– Ке, слушай, ке, а где ж Мельгайвач? Разве он не вернулся? Как же он не вернулся? Он ведь за подарком поехал – оленей пригонит сюда… Наверно, пурга его задержала…

Сайрэ спасал жену от беды, обманом возвращал ей рассудок и не знал, что Мельгайвач в это время действительно и всерьез размышлял о подарке.

Ничего не случилось в пути с богатым, но обреченным на тяжкие испытания чукчей. В мешке на нарте у него была водка, и он, хорошенько выпив, не щадил оленей, пробиваясь сквозь полосу непогоды.

В теплой яранге, где все говорило об огромном достатке, к нему пришли свои, трезвые, но слишком нетерпеливые мысли. Он рассудил так. Да, кровь и боль сводят с ума – даже животных, и человек, глядя на кровь, расширяет глаза, становится не таким, каким бывает всегда. Поэтому главное – кровь, а не всякие там проталины по весне и пустой навар вместо жирной еды; Сайрэ, как и все шаманы, конечно, немного жулик… И Мельгайвач, завалившись спать с младшей женой, начал гадать, сколько оленей нужно отдать Сайрэ – сто или двести и когда лучше пригнать их в Улуро – весной или сейчас.

За этими размышлениями Мельгайвач совсем забыл о том, что Кака, вроде птицы, клюющей падаль, в последнее время все снижался и снижался над ним. Если бы он подумал об этом, то, наверное, остерегся спешить и уж непременно бы все сделал иначе. Но ему слишком надоело видеть себя попавшим в беду, и слишком близкой была возможность опять улыбаться.

Уже на второй день Мельгайвач отправил всех жен к родственникам и остался один. Ему надо было бы выгнать еще и собаку, но ведь собака не человек, что она понимает…

В опустевшей яранге было тепло и светло – под треногой горели поленья, горел, как всегда, и большой жирник. Мельгайвач ходил туда и сюда, разглядывая свои богатые пологи, каждый из которых был подобран из шкур одинаковой масти. И вдруг он подошел к очагу, спустил на бедра штаны, задрал рубаху и ударил себя не успевшим блеснуть ножом. Ощутив вполне терпимую боль, Мельгайвач удивился, как все это просто. Он не взглянул на живот; он наугад придавил ладонью рану, а когда ладонь стала мокрой и теплой, отнял ее, поднял голову кверху, чтоб ничего не видеть, потер руку о руку, умыл сразу обе щеки – но неожиданно зашатался, зашатался, как одинокое дерево, попавшее в круговорот горячего ветра. Дымовое отверстие метнулось в сторону, а подсвеченный снизу кособокий шатер[52] расправился во все небо и закрутился, как колесо на русской телеге. Чтоб не упасть, Мельгайвач схватился свободной рукой за жердь треноги и опустил голову. То, что увидел он, было ужасно. Ладонь опять

[51] Сускарал – крюк из железного прута или оленьего рога для подвешивания котла или чайника над огнем. Обычно вешают две – три посудины.

[52] В отличие от тордоха чукотская яранга не сферическая; передняя «стена» у нее прямая.

зажимала рану, но из щелей между пальцами упругими струйками вырывалась в разные стороны кровь.

Вот тут – то Мельгайвач и оторопел. Он скорей закрыл правой ладонью левую, однако кровь моментально нашла новые щели. К тому же все туловище охватила жгучая боль. Он согнулся до самой земли, чуть не достав головой пола, – но большие ладони отстали от живота, и кровь потекла сильней. Тогда Мельгайвач упал на бок, упал и придавил локоть – и рана вовсе открылась. Растерявшись, не зная, что делать, он стал кататься по полу.

Он купался в крови и не мог закричать – боль со страшной силой стискивала ему зубы. И когда от этой боли и от отчаяния глаза совсем полезли на лоб, вдруг наступило какое – то успокоение. В муках всегда бывает миг отупения, передышки – его дарит сила жизни затем, чтоб у человека мелькнула трезвая мысль, может, последняя, а может, спасительная. Но Мельгайвач этот миг понял по – своему, так как приготовил себя к нему. И только успел подумать о вдохновении, как закричал что было сил. Он заметил у очага собаку, лизавшую красную лужу…

В это – то время и показался в двери Кака. Рослый голова чукчей хотел войти поскорей, но потерял шапку и нагнулся, чтобы ее поднять, – да так и оледенел, стоя на четвереньках. Клочья черных волос вздыбились на его голове, а глаза выкатились белками наружу. Смуглый до черноты, он сейчас был похож на черта, увидевшего такое, чего не мог бы придумать он сам вместе с другими чертями.

Поняв все и забыв о шапке, Кака вскочил, пинком ударил собаку, с визгом отлетевшую в угол, схватил с ящика недошитый камус.

– Ы – ы – х, дурак… дурак! – начал подпихивать он шкурку под ладони Мельгайвача. – Да постой – книзу кожей. Шерсть набьешь – кровь загниет. Ну, прижимай. К Сайрэ ездил, жадюга? Пожалел половину стада, хотел подарком отделаться. Подыхай теперь, а стадо твое новые мужья жен поделят.

– Нет, Кака… Не о том думал… – Из глаз Мельгайвача к ушам покатились слезы. – Вдохновение хотел получить.

– В пасть зверю прыгнул. Во как он тебя разукрасил.

– Кака, помоги… – Бледный как снег и измазанный кровью, Мельгайвач смотрел на него глазами умирающего ребенка, который впервые понял, что мог бы жить очень долго. – Возьми бубен, Кака…

Перестав суетиться и найдя на полу место, не залитое кровью, Кака сел и глянул на свои руки, тоже измазанные кровью. Покуда не сбежались люди, он лихорадочно соображал, что может произойти дальше – умрет Мельгайвач или нет, сейчас умрет или после долгой болезни. Но вот он решительно встал и пошел к двери.

Он вернулся быстро, неся в руках обломки твердого снежного наста.

– Лежи, не крутись, – приказал он и стал обкладывать живот и руки Мельгайвача снегом.

– Кака! Не надо, – взмолился несчастный. – Не морозь меня, брат. Я сам, наверно, замерзну.

– Лежи, если дурак.

– Ты лучше бубен возьми. Покамлай – может, еще вдохновение и придет.

– Да Сайрэ отомстил тебе, а ты о вдохновении думаешь! – проговорил Кака. – Останешься жить – разве этот шрам не будет напоминать тебе о шраме девочки Халерхи? Будет. До конца дней твоих. Вот как Сайрэ защищает свой род. А не так, как ты. Старый он черт, но молодец. Его похоронят с почестями. А тебя?

– Покамлай, Кака, – попросил Мельгайвач. У него уже не было сил шевелиться, сил хватило только на то, чтобы прижимать к ране шкуру да говорить.

– Я покамлаю. Но ты обидел меня – на Сайрэ променял. Отдашь половину стада – буду камланить. Все равно богатство твое разлетится, как на ветру пепел. Слаб ты, а чтоб удержать богатство, надо быть сильным. Или посылай за Сайрэ…

– Покамлай, Кака, может, придет ко мне вдохновение, – с упрямой надеждой попросил Мельгайвач. – Было уже вдохновение, было. А половину стада возьми. Придут пастухи, при тебе распоряжусь.

Народ сбежался в ярангу, когда голова и шаман Кака изо всех сил заколотил в бубен. Ужас и крики жен, суматоха, вопли испуга распалили Каку очень быстро. Ему никогда не приходилось прыгать по земле и шкурам, залитым кровью, и каким бы рассудительным он ни был до этого, сердце его теперь колотилось так, что от сильного удара палкой бубен лопнул и замолчал, а сам он упал под полог, ошалело вращая глазами. В яранге было шумно, и ему пришлось почти закричать:

– Будет он жить, будет! Но страдать и болеть придется ему. Убейте собаку, которая крови его нализалась, сейчас убейте. А шаманом ты, Мельгайвач, не станешь, – сказал он тише, – ни большим, ни маленьким. И лучше тебе стать простым чукчей…

– Как – безоленным? – подал Мельгайвач слабенький голос.

– Да, безоленным. Поставь половину стада на приз, назначь состязания. Имя твое прославится. Иначе ты умрешь опозоренным и несчастным.

Мельгайвач простонал. Лицо его, обмытое старшей женой, было сейчас особенно бледным, и стон кому угодно мог показаться предсмертным. Но больше всех испугались жены. Старшая из них, не помня себя, схватила пробитый бубен, схватила палку и начала стучать, приседать и подскакивать. Кто – то заголосил. Пробитый бубен издавал только треск, и хоть старшая жена колотила по ободу, на губах у нее быстро появилась пена – и она затряслась, свалилась на руки женщин. Но бубен и палку подняла вторая жена. Эта была помоложе, покрепче. Она закричала визгливым голосом, подражая мужу – шаману…

А Кака поднялся; он осторожно обошел толпу сзади, начал искать возле двери шапку. Не найдя ее, вышел на волю. Вышел – и оторопел: ярангу со всех сторон окружали олени. Их было до ужаса много. Ближние обнюхивали жилье своего хозяина. Все они теснились, не разбредались – будто почуяли что – то неладное. А может, пришли прощаться?.. Но Каке было сейчас не до нежностей. У него нетерпеливо зазудело сердце. Половина всего этого богатства теперь принадлежала ему, и он моментально представил себе, как будет выглядеть целое стадо, когда соединят то, которое он имеет, и эту часть, которую он тоже имеет отныне. Разве тут захочется размышлять, кто страдает и почему страдает!.. Кака вернулся в ярангу, нашел пастуха, который подходил к хозяину, и потянул его за собой к стаду.

– Знаешь? – спросил.

– Знаю.

– Разделяй. А я пойду кликну своих пастухов.

ГЛАВА 5

Куриль и Мамахан зимовали вместе. Куриль в этот раз не перекочевывал в свою Дулбу – остался в Булгуняхе, на небольшой летней заимке. Места здесь ничем не примечательны – кругом холмы с жидким лесом, а между холмами впадины – днища давно пересохших озер. Но вот эти – то впадины и привлекали сюда многих богачей со своими стадами: кормов для лошадей и оленей здесь куда больше, чем по другим местам. Почитай, все богачи окрестных тундр знали эти ложбины – и чукчи Кака, Чайгуургин, Мельгайвач, и юкагиры Курили – Афанасий и Петр, и якуты Мамахан и Похон, и с Нижней Колымы Потонча, Бережновы, Соловьевы, Шкулевы…

Афанасий Куриль считал, что пасти стадо зимой в Дулбе выгоднее, однако не поехал туда. И для этого были причины. Несколько лет назад в Дулбу приезжал поп; божий человек окрестил некрещеных, накормил их божьей едой, а Курилю, между прочим, сказал, что ему стоило бы отдать одного хорошего парня на обучение, чтобы парень стал тоже попом. Жил бы поп – юкагир в Дулбе или же Булгуняхе сказал он, детей бы крестил, был бы посредником между людьми тундры и богом, призывал бы всех к добрым делам и смирению… Этот совет Курилю очень понравился. Однако он сразу подумал о больших трудностях, без которых ничего не удастся сделать. Парень начнет учиться, а тем временем надо церковь строить. Поставить же церковь одному не под силу, значит, нужно искать компаньона. Хорошо сговориться бы с Петрдэ, но Петрдэ неразворотливый и мелочный… Стало быть, надо искать других. А скажи об этом Каке или даже Мамахану – Другу, сразу начнется спор: почему в этой церкви будет петь и крестить юкагир, а не чукча и не якут.

Как бы то ни было, а пришлось открыть свои мысли. И выбор Куриля пал на Мамахана. Купец и богач Мамахан Тарабукин сразу смекнул: дело и нужное, и выгодное.

Разговор о постройке церкви произошел после большого камлания. И Мамахан не дал Курилю поговорить: попом будет якут. Но ведь не ему же первому русский священник сказал обо всем этом – так почему же якут? Поспорили, но ни на чем не сошлись, а строить церковь все же решили твердо. Потом они ездили в Средне – Колымск, в Верхний и даже Нижний остроги. Божьи дома были огромные – глянешь на крест, малахай потеряешь. А строить поменьше, видно, нельзя. Спросили, сколько надо песцовых шкур, чтобы такой же дом поставить в тундре. Городские сказали: двести мало, надо четыреста. А исправник даже с мягкой красивой скамейки вскочил: «Что? Четыреста? Да если в шестьсот обойдется – это вам бог просто уважение сделает…» Вернулись домой невеселыми. Собрать столько пушнины с людей, да ничего за это не дать – попробуй, помотайся по стойбищам. Бедно люди живут, у многих ровдуги дырявые, в день всего по две трубки выкуривают…

Но и Куриль, и Мамахан понимали, что строить церковь все равно надо. Светлая вера не только очистит людей от грехов, но и сделает их послушными, а кроме того, она отнимет власть у шаманов и разорит шаманов – жуликов, которых развелось больше чем надо. Но главное – построить церковь на свои деньги и попа посадить в нее местного, своего. Если же за все это возьмется губернатор или исправник, то попом станет русский или нездешний якут, которые будут на город оглядываться, и тогда туго придется неграмотным богачам, не говоря уже о мелких купцах.

Время шло, а Куриль с Мамаханом никак не могли собраться и обо всем подумать по – настоящему. И вот наконец решили: пусть эта зима станет началом. А раз церковь выгодней строить здесь, в Булгуняхе, то и решать все лучше на месте.

За ползимы много горькой воды выпили два богача друга, много чохона[53] поели. Но не без пользы для дела. Условились твердо: Куриль возьмется за сбор пушнины, а потом, когда

[53] Чохон, или хаяк – коровье масло, очень дорогой продукт в тундре тех времен (якут.).

Мамахан продаст ее в городе и купит все нужное для постройки, он привезет материалы на место по якутско – колымскому тракту. У Мамахана были большие связи с якутскими, индигирскими, иркутскими купцами и даже с ветвью какого – то купца из Москвы, а Курилю было все же сподручней иметь дело с простым народом: немало людей он выручил в трудное время, хапугой его не считали.

Все хорошо и складно решили они, но тут до Булгуняха долетели страшные и непонятные вести, из – за которых пропала охота пить горькую воду. Шаман Сайрэ будто бы внушил Мельгайвачу сделать надрез на животе, чтобы при грехомытии обрести власть над духами, а тот перестарался – не то задел кишки, не то смешал кровь с шерстью, стал опухать и чуть не умер. Голова же чукчей шаман Кака, говорят, спас его и получил за это подарок – половину всего огромного стада. Такие серьезные слухи быстро опровергаются или подтверждаются. Эти подтверждались надежным нарочным, посланным в Халарчу.

Призадумались Мамахан и Куриль. Пока они годами собираются отколоть людей от шаманов, шаманы действуют, да еще так, будто они вот – вот возьмут всю целиком власть над тундрой. Это не просто новая свара, на которую можно плюнуть: один богач совершил глупость, а другой нагло ограбил его. Люди знают, что богачи вовсе не глупые и что добро им достается не даром. И только совсем непонятная сила может заставить их резать себя, отдавать за камлание половину богатства. Как же им – то, простым, совсем темным, малоимущим людям, не бояться этой силы, не почитать ее и не подчиняться ей…

Несколько дней Куриль и Мамахан не встречались. Каждый заново обдумывал затею с попом и церковью, каждый прикидывал, побьет ли светлая вера черную веру. Купец Мамахан, знавший, что на строительстве он кое – что заработает, рассудил в конце – концов просто: церковь будет готова года через три или четыре, а к тому времени история с Мельгайвачом заглохнет и опасаться, стало быть, нечего. Куриль пришел к такому же заключению, однако он был головой юкагиров и вовсе не хотел, чтобы эти три – четыре года с ним считались меньше, чем с шаманом Сайрэ. А еще он сильно переживал неудачу во время большого камлания, когда шаманы не посчитались с ним, не пошли на сделку ради добра, из – за чего все теперь обернулось вот так нехорошо для него, для юкагиров и чукчей. И он решил тоже действовать.

Зайдя к Мамахану и отказавшись выпить горькой воды, Куриль сразу заговорил:

– А ты, догор, знаешь, почему мы слабы? Потому, что у нас нет ни шестисот шкурок, ни денег. А если было бы это, то как раз бы время сейчас завозить лес, говорить о светлой вере и божьем доме, о своем попе и еще о том, что шаманы – черти…

– Ты, Куриль, накинул аркан на собственную руку, – сказал Мамахан. – Ты все эти дни прицеливался?

– Нет. Я приглядывался к ветвистым рогам шаманов – чертей… Я в конце зимы проведу большое оленегонное состязание. Поставлю на первый приз половину своего табуна, другие богачи поставят по стольку же, и я выиграю этот приз. Выиграю – или отдам печать кому угодно.

– А я продам этих оленей, куплю бревна, ты привезешь их – и в Булгуняхе или на берегу Большого Улуро застучат топоры, – договорил Мамахан.

– Это не главное. Главное, я скажу всем людям, что отдаю выигрыш светлой вере.

– Хорошо. Но кроме этого, ты еще соберешь шкурки – и божий дом будет готов? А как же я? Может, ты без меня справишься?

– Глупому все это я рассказал бы не так…

– Догор Куриль! До чего же у тебя умная голова! – Мамахан даже вскочил на ноги. – Я, значит, тоже должен провести состязание? Конное? Я на первый приз ставлю двадцать! Хватит! А выиграю сорок или больше… – И он добавил вкрадчиво, с расстановкой: – Сегодня мы пьем водку…

И покатилась вторая половина зимы под уклон, на ровное поле гонок.

Не мешкая, Афанасий Куриль отправил посыльных к богачам индигирской и восточной тундры. Мамахан послал вестовых во все якутские заимки. А как только дни начали удлиняться, Куриль покинул свой Булгунях, перекочевал к Большому Улуро и на едоме Артамона поставил огромный тордох.

Жаркими, хлопотливыми были эти дни у богатых друзей, решивших бросить вызов шаманству.

Куриль первым делом подобрал гонщика. За три луны до состязаний он пришел в тордох Пурамы и спросил:

– Пурама не забыл, кто он такой?

– Я? Твой шурин и первый охотник, у которого в мешках вместо шкурок гуляет ветер.

– Шкурки надо менять на порох и железные капканы. А Пурама рыбу и мясо отдает шаманам, а потом шкурки на еду меняет.

– Я не пойму, зачем ты ко мне пришел и что хочешь сказать.

– Пурама не забыл, что его близкий родственник два раза подряд выигрывал на состязаниях? Хороший гонщик – вот кто такой Пурама!

– Теперь понимаю. Я, значит, должен выиграть тебе еще одно стадо и тоже умереть? Смотри, Куриль… Мельгайвач жирел, жирел – и лопнул. Кака ограбил его – и тоже лопнет. Всем богатством тундры одному человеку завладеть нельзя – бог не разрешит.

– Пурама прав. Я назначил большое состязание. Но гонки проведу по старому правилу: приз выигрывает хозяин оленей, а не гонщик. И ему незачем будет умирать… А за меня переживать нечего: если лопну, то не сейчас. Сядем, шурин, поговорим спокойно.

В тордохе было тепло. Пурама отличался огромным трудолюбием, без дела не мог сидеть, а лазить с иводером[54] по снегу мог сколько угодно. Но хоть и любил Пурама жить в тепле, был он, однако, настоящим сыном тундры. Худой, с сухим обветренным лицом, он казался человеком, которого не может взять никакой мороз. Да в тундре все зависит от подвижности и трудолюбия – ленивых она жестоко наказывает. А Пурама побывал в таких переделках, что иной и не выдержал бы. К тому же характер у него был вспыльчивый, и жил он в постоянном напряжении, словно дикий зверек. Куриль, знавший его гордый и независимый нрав, редко бывал у него и мало ему помогал. Но сейчас он пришел – ему нужен был человек – пружина, человек – стрела.

– Я скажу кое – что важное, и Пурама сам поймет, почему об этом пока не надо рассказывать никому… Я и купец Мамахан решили поставить в тундре большой божий дом… – Куриль замолчал в надежде узнать, как воспримет главную новость простой человек.

И то, что последовало за этим, обрадовало его. И без того узкое лицо Пурамы стало вытягиваться – рот его открылся от удивления, а быстрые маленькие глаза будто ушли куда – то назад, чтобы издали разглядеть человека, знакомого и вроде бы незнакомого.

– Мы поставим божий дом, – продолжал Куриль, – а божьим человеком, попом, станет не приезжий, а свой юкагир. Мы его пошлем в острог на обучение. Но божий дом будет для всех, и строить его должны все. Я приду к Пураме первому и попрошу хотя бы одну песцовую шкурку.

– Я дам две! Нет, я дам три! – выпалил Пурама.

– Две хорошо, три не надо – пусть другие тоже дадут… А я и Мамахан богаче вас всех, и потому мы должны больше внести. Мы внесем, но мы хотим еще больше внести – чтобы дело шло скорей и надежней.

– Я понял тебя, Апанаа, кажется, хорошо понял, – сказал Пурама. – Призы отдадите? И их надо взять? – Но тут лицо охотника неожиданно переменилось, стало обыкновенным, злым и недоверчивым. – Я понял тебя, – повторил он, но уже иным, недобрым голосом. – Я дам песцов, я погоню оленей. Однако с условием: перед самой гонкой ты скажешь людям, что

[54] Иводер – крюк из рога молодого оленя, приспособленный для добывания топлива.

весь выигранный табун отдашь божьим работникам, которые сделают божий дом. Согласен? – Пурама привычно искоса посмотрел прямо в глаза Курилю, будто прицелившись в него из ружья. – Не сердись, Апанаа: дело такое – сразу не сообразишь. Тебе я верю. Ты добрее других богачей. Но все вы обдумывали с Мамаханом? А вдруг Мамахан не выиграет приз и ничего не даст? И тогда тебе одному отдавать будет обидно…

– Он меня с наглым Какой равняет! – вспыхнул Куриль, забыв, что стоит ему согласиться с условием, как зятю крыть будет нечем.

– Почему ж я равняю? – спокойно сказал Пурама. – Приз будет честно выигран… Да кто же поверит тебе, – сорвался он с мягкого тона, – что в тундре богачи захотели поставить божий дом, как в остроге? Да еще захотели попом посадить юкагира, чтобы он с самим богом и царем разговаривал! Нет, не поеду я.

– Ну и ладно. К чертям! – встал Куриль и нахлобучил шапку. – Найду другого. Я сам хотел сказать, что оповещу народ: приз – для божьего дома. Найду гонщика. А Пурама пусть идет и прислуживает Сайрэ. Может, шаман посоветует охотнику из ружья себе в живот выстрелить. Погляжу я, как зятю совестно перед богом будет, когда железный крест к облакам на ремнях потянут…

Он зло расшвырял обтрепанные полы ровдуги и, конечно, ушел бы, если б слова его не убили наповал все неверие и подозрительность Пурамы.

Охотник вскочил и с ловкостью затравленного песца втиснулся в дверь между жердью и напрасно обиженным гостем.

– Апанаа, постой, – залепетал он, – зачем же ты так. Ну какой ум у меня? Что я видел и что понимаю? Выкинь из сердца мою обиду – мне твою выкинуть будет трудней…

И Пурама взялся исполнять такое неожиданное, такое важное и страшноватое поручение зятя.

Тайна, которой была покрыта его подготовка, напрягала и ум, и силы его до предела. Он сам отобрал оленей, переглядев всех потомков тех самых оленей, которые принесли Курилю богатство. Первый раз он выехал в тундру после полуночи, когда меньше всего бывает опасность встретить каюра или посыльного – сплетника. Уже на другой день после пробной объездки Пурама пришел к Курилю и сказал, что нарта не годится для состязаний – она тяжела и груба. Куриль велел пока ездить на этой: пусть олени привыкнут к тяжелой, и тогда легкую они понесут как на крыльях.

Катаясь на нарте, Пурама часто крестился, а еще чаще разговаривал с богом. Нет, он не просил его помочь выиграть приз, который оказался очень большим. Он просил его сделать сердца Куриля и Мамахана твердыми, чтобы из них не ушла добрая воля и чтобы в них не проникла ни обида, ни зависть.

Новую нарту взялся выстругивать лучший мастер Нявал. С Нявалом разговор был короткий: зима перевалила за середину, и его семья, как всегда, нуждалась в еде, чае и табаке. Ну, а насчет тайны договариваться не пришлось – Нявал по необходимости – то не умел толком сказать двух слов. Нарта у него получилась сказочной – он сам съездил к купцу Мамахану, и вместе с ним они выбрали самые стройные, без сучка и извилины, молодые березки, а тесал, гнул, сушил и подгонял он каждую рею с великим терпением. Готовую нарту можно было поднять рукой и повертеть ее в воздухе.

А Пурама продолжал гонять по тундре оленей. Он гонял их и днем, и ночью, не щадя ни их, ни себя. И за три луны олени сбросили жир, исхудали, но зато и окрепли.

Первым из богачей, приехавших на берег Большого Улуро, был Тинелькут – владелец огромного стада в восточной тундре. Тинелькут потребовал, чтобы в призовом табуне Куриля были ламутские важенки и быки: он надеялся на выигрыш, который позволил бы ему распространить кровь ламутских, самых лучших оленей на восточную тундру, то есть на свое стадо, состоявшее из каргинов. Куриль согласился.

Вторым, из Халарчи, пожаловал голова чукчей Кака. Встретив его, Куриль тотчас подумал: «Ага, богатеет без меры и уже зарывается. Проиграет, нет – лопнет», – вспоминал он предречение Пурамы. Но оказалось, что Кака не будет играть: он лишь привез послание от Мельгайвача, который почему – то решил поставить на приз последнюю половину своего стада. «Нет, тут все правильно, – сообразил Куриль. – Кака его в это втравил. Хочет смягчить свою вину перед ним и сам будет готовить гонщика. Да! Гонщик – то у них – Кымыыргин. Это же черт, а не гонщик… Ладно… Ну, а если Мельгайвач проиграет, то что ж: разориться на гонках – это почет и слава, не то что разориться из – за неспособности управлять богатством…»

Условились так: на три якутских шагания, от едомы Артамона до берега Малого Улуро и обратно. Все три стада соединяются в один приз, и его целиком получает хозяин.

Второй приз – десять оленей, третий – пять. В гонках будут участвовать все желающие. На том и разъехались.

Прошло еще две луны. Дохнуло сырым ветром и запахами земли. Высокие едомы сняли белые шапки, обнажив глиняные залысины. Солнце начало высоко подниматься над горизонтом. Совы стали прятаться в тень, а песцы веселиться, играть, радуясь свету.

В один из таких солнечных дней Куриль приказал разделить свое стадо надвое. Пастухам он велел проследить, чтобы ламутская важенка была в паре с ламутским быком. Куриль все делал честно, боясь прогневить светловолосого бога, которого видел нарисованным на доске с золотыми краями: бог заметит обман и тогда найдет других людей, которым позволит поставить церковь в тундре… Через несколько дней пастухи пригнали табун Мельгайвача и соединили его с табуном Куриля. Еще через несколько дней показалось третье стадо, которое гнал вместе с пастухами сам Тинелькут.

К едоме Артамона длинными вереницами потянулись караваны богачей и купцов. Сразу начали ставить яранги и тордохи, растапливать очаги, готовить еду, приглашать гостей и ходить в гости. Ожил, зашумел берег озера, еще недавно слышавший грохот трещавшего от мороза льда, свист пурги и вой волков.

Приехал самый богатый человек тундры старик Тинальгин. Ему уже некуда было богатеть, но ему хотелось посмотреть, как играют в удачу и неудачу другие властители Севера. Позже всех прибыл худой и бледный Мельгайвач – его везли не спеша, чтобы не потревожить едва зажившую рану. Встретил его один Кака да еще гонщик оленей Кымыыргин. Только они ушли, оставив приехавшего на нарте, как из маленького тордоха выскочил кривоногий старичок Сайрэ. Шаман быстро, хлопотливо заковылял прямо к Мель – гайвачу.

– Мэй, мэй…. – скрестил он по – женски на груди руки. – Как же так угораздило – то тебя? Почему же не дождался весны, как я говорил?

– Оставь в покое меня, – попросил, отворачиваясь, Мельгайвач.

И Сайрэ повернул назад, продолжая сокрушенно ахать и приговаривать.

Ни шумные встречи, ни пересуды мужчин, ни пьянки богачей, ни ребячьи игры – ничто не интересовало гонщиков. Все светлое время они проводили со своими оленями, то и дело выезжая на ровное место, чтобы опробовать снег, оглядеться, приноровиться друг к другу. Каждый день они совершали пробные гонки, выстраиваясь в ряд и стремительно исчезая в клубах снежной пыли. Их было более двадцати, но жарче всего люди судачили о главных соперниках. Заранее предугадывали неудачу гонщика Тинелькута, его младшего сына Нутувги. Да он и сам не был таким уверенным, как отец, – его низкорослые каргины не могли равняться с ламутскими беговыми оленями. Но было три – четыре гонщика, заставлявших людей чесать затылки и горячиться. Особенно привлекал к себе внимание индигирский гонщик Едукин: его олени были чистой ламутской породы – рослые, широкогрудые, со стройными сильными ногами и острыми копытами – во время езды этих копыт нельзя было видеть, и казалось, что олени летят по воздуху. Но олени оленями, а вот чукча, гонщик Мельгайвача Кымыыргин,

уже во время пробных заездов вытворял настоящие чудеса. Приземистый, веселый, взявший немало призов на гонках, он без конца вырывался вперед, вырывался так далеко, что останавливался, поджидая, будто дразня других, и снова летел вперед. Вот эти – то двое – Едукин и Кымыыргин – создавали горячку: все знали, что гонки назначил Куриль, а его ездок Пурама казался угнетенным, каким – то слишком задумчивым. После пробных гонок он быстро скрывался в своем тордохе, будто злясь на ламута и чукчу. Поговаривали даже, что он не очень здоров.

А Пурама между тем действительно был угнетен. С каждым днем он все яснее чувствовал, что состязания пройдут точно так, как обычные состязания. Богачи пьют горькую воду, пьют и Куриль с Мамаханом. И совсем никто не говорит о самом главном – о том, зачем юкагирский голова, человек суровый и умный, вдруг затеял такую большую игру. Хуже того, Пурама предвидел, что если Куриль и скажет в последний день, как он поступит с выигрышем, то это ничего не изменит: одни примут слова за шутку и посмеются, другие – хозяева приза, почуяв недоброе, подстегнут и без того опасных для Пурамы гонщиков. А он ожидал иного. Он ожидал, что все люди будут серьезными, что многие станут молиться за него и желать удачи ему, что гонщики или рассвирепеют и дадут понять Курилю, что игра есть игра, или наоборот, охладят пыл – как – никак, а богу уступить надо. Если б все это случилось так, то Пурама выжал бы из себя все силы. А сейчас что ж получается? Все думают лишь о том, вернется ли к Мельгайвачу богатство или он станет простым безоленным чукчей, повезет ли Курилю, разбогатевшему на чужих гонках… Пураме уже давно было небезразлично – шепотом Куриль скажет о своих намерениях или громко в кругу богачей. Сейчас выходило так, что можно совсем не говорить ни о чем: игра и впрямь есть игра. «Все они, богачи, такие, – махал он в своем тордохе рукой. – Мутят, мутят воду, других заставляют мутить, а вытащат рыбу и на свою жердь повесят…»

Вот только еще не решил Пурама, отказаться ли ему от гонок, если Куриль промолчит, или поехать. Не поехать – скажут, что струсил.

День гонок выдался солнечным, тихим. На том месте, откуда умчатся упряжки в путь, уже стояла высокая жердь с веревкой, привязанной за конец, – свалят жердь, гонщики дернут вожжи; здесь же лежали три кучи дров – это зажгут костры: три приза. Уже воткнули в снег и три кольца, согнутых из тальковых прутьев, – победитель должен зацепить ногою одно из них.

Пурама запрягал оленей трясущимися руками. Он медлил и все поглядывал в ту сторону, где торчала жердь. Народу там еще не было – люди толпились вокруг гонщиков, которые собирались к выезду у своих тордохов или яранг. Вон пляшет с бубном в руках сам Тинелькут. Он шаманит. И Кака шаманит, но его за ярангой не видно, слышен лишь звон бубна. Все это странно – перед состязаниями так редко кто делает, а тут сразу двое… «Пусть шаманят», – неопределенно подумал Пурама и опять начал смотреть на жердь, возле которой уже появились ребята.

– Гляди, Пурама, – раздался голос Нявала, проверявшего свою новую, но уже обкатанную нарту. – Сайрэ наш… это… туда… вроде с бубном пошел…

– Куда? Смотри: правда, идет… К гонщику Мельгайвача, к Каке…

– Гы, чего это он?

– Н-не знаю… – рывком затянул Пурама узел постромки. – Ну – ка, дай и я отойду.

Он сделал несколько шагов, чтобы лучше увидеть то, что происходит за ярангой, но махнул рукой и вернулся.

– А, все понятно, – сказал безразлично он. – Виноват перед Мельгайвачом – вот и пошел шаманить ему. Пнул ногой, а теперь хочет погладить.

Нявал, сидя на нарте, вынул изо рта трубку и постучал ею о полоз.

– Чего это ты… значит… вроде как это – злой на Сайрэ, – спросил он, спотыкаясь на каждом слове.

– Злой… – спокойно повторил Пурама. – Когда детей он спасал – больше, чем я, кто ему помогал? А только ум сам по – разному поворачивается. Если сказали, что Мельгайвач не виноват, а виноваты духи, так духов и надо уничтожать. А зачем же его самого – то резать?

На нарте, рядом с Нявалом, сидел еще и Хурул – лучший бегун стойбища. Хурул обычно был разговорчивым, а то и вспыльчивым. Но сейчас он сидел и молчал, разглядывая следы копыт на снегу. Это его молчание Пурама хорошо понимал: бегун, знающий толк в состязаниях, наверно, не ждал удачи. Но все же он заговорил:

– А как, по – твоему, Пурама, – подойдет Сайрэ к тебе или нет? Как – то получится нехорошо. Мельгайвач – чукча и к тому же безбожник, а он побежал вдохновлять его на победу. А ты свой, юкагир, да еще на такое божье дело идешь – и он, почитающий бога, не пошаманит тебе…

Пурама в это время разглядывал копыта оленей, и слова Хурула, будто лопнувшая тетива лука, выпрямили его. Жар ударил в лицо, но с языка не успели сорваться вопросы, потому что Хурул повернулся к нему и продолжал говорить:

– …А пошаманит тебе – Мельгайвач обидится: приз – то большой один! Слышь, Пурама, – как – то так получается… – Он красноречиво поерзал на нарте. – Хоть и втихую все они делают, а люди – то знают! Нет, Сайрэ должен тебе пошаманить. Схватишь приз ты – что он будет делать тогда! Люди скажут, против божьего дела шел.

– А ты думаешь, что Куриль все – таки будет божий дом ставить? – показывая себя спокойным, спросил Пурама.

– Да если бы слух после гонок прошел, люди, может, и не поверили бы. А теперь куда же ты денешься? Играть божьим именем? На это никто не решится. Как ты считаешь, Нявал?

– Это… конечно. Да ведь… смотря какой дом? Из чего делать будут? Если из бревен, так это… сто топоров будет мало. И топоры нужны из железа…

– А, топоры, топоры! – махнул на него Хурул. – Игровой табун, глянь, какой: больше половины едомы занял. Согласишься и роговым топором бревна тесать. Не об этом я говорю.

– А ты сам слышал? От Куриля? – спросил Пурама.

– Нет. Это вчера Мамахан горькой воды напился – и кому – то в ухо сказал… А вон, глянь, и Куриль идет.

Хурул и Нявал поднялись с нарты, а Пурама стал нервно перебирать вожжи.

Куриль был одет в новенькую чукотскую кукашку[55], каких юкагиры еще не носили, на ногах – новые саскэри[56]. С ним рядом шел Мамахан в пушистой медвежьей шубе. Оба они были веселы: Мамахан что – то рассказывал, жестикулируя толстым кулачком, а Куриль щурился в улыбке, важно глядя прямо перед собой.

– Пурама! – бодро и громко сказал Куриль. – Где ты прячешься тут? Выезжай – покажись людям. Пусть поглядят на твоих высокогрудых, широкогрудых оленей…

На дорогу уже выезжали другие гонщики. Сразу стало людно и шумно. Народ начал метаться из стороны в сторону, боясь пропустить мимо глаз хоть что – нибудь в этот переполненный радостным возбуждением миг. Не часто бывает такое в тундре, далеко не каждому выпадает счастье видеть все это… Как дробь из ружья, выскочила вперед всех стайка ребят.

А Куриль подошел к Пураме вплотную и стал говорить тихо, но быстро:

– Один глаз – на Едукина, а другой – на Кымыыргина! Едукин не зря приехал, готовился с хитростью, себя не показывал. А чукчей надо остерегаться. – Он поглядел на нож Пурамы, висевший у него на боку. – Чукчи могут зло пошутить… Подойдут возле костров шаманы –

[55] Кукашка – глухо сшитая доха; верхняя, более удобная, чем юкагирская, одежда; впоследствии была признана и юкагирами (чукот.).

[56] Саскэри – обувь со щеточной подошвой.

уехать нужно от них – пусть на пустом месте пляшут. Пурама! Я все сделал, как говорил, перед богом чист. Народу сказал, но потихоньку: испугался, что другие откажутся ехать.

– Все уже знают, – сказал Пурама.

– Да, знают. И Кака, и Тинелькут. Потому тяжело будет. Ну, пусть светлый бог поможет нам!

Он стукнул зятя по спине, и тот натянул вожжи.

Ярко светило солнце на пустом синем небе.

Рядом с жердью зажгли костры, и сизый, клубящийся дым тремя веревками потянулся вверх, образовав одну общую тучку – розоватую сбоку и синюю, мутную снизу.

У костров шумела и пересыпалась толпа, окружавшая добрую полусотню упряжек. У одного из костров опять звенел бубен, взлетевший над головами людей, – это снова шаманил богач Тинелькут, которому так было нужно угнать в свою тундру ламутских оленей. А недалеко от него звенел и второй бубен – только шамана не было видно. Пурама проехал мимо старика Тинальгина, сидевшего в окружении богачей на нарте. Рядом с ним стояла другая нарта, на которой торчал, как высокий пень, Мельгайвач, укутанный шкурой. Пурама сделал крюк, чтобы посмотреть на второго шамана. А когда подъехал – увидел Сайрэ, скачущего возле упряжки Едукина.

«Так. Меня не искал. Значит, и он знает все», – сказал себе Пурама и повернул прямо к черте на снегу, означавшей начало большой и трудной дороги.

Двадцать три упряжки наконец выстроились в одну линию. Сорок шесть оленей, натягивая и отпуская постромки, топтались на месте. Накренив на один полоз нарты, все гонщики замерли, глядя на жердь и только на жердь, к которой шагали трое – Куриль, Тинелькут и чуть сгорбившийся Мельгайвач.

Вот богачи остановились, осторожно потянули веревку – и тоже замерли. Затихла толпа. Треск сучьев в кострах и мягкий скрип снега под копытами нетерпеливых оленей сейчас казались невероятно громкими.

Богачи пошептались, глянули в сторону гонщиков. Потом попятились, дернули разом веревку – и высокая жердь хлестнулась о снег.

Все, как одна, упряжки рванулись вперед, но сразу же сбились в кучу. Началась борьба за дорогу. В снежной пыли ничего нельзя было разобрать. А когда суета ослабла, люди увидели далеко впереди бурые комочки, настигающие друг друга. За каждой упряжкой вилась пыль – и уже казалось, что огромную тундру, как белую шкуру, быстро вспарывают из – под снега ножами.

Впереди было много времени: три якутских шагания – это не близко[57]. Самое интересное начнется тогда, когда гонщики повернут обратно, к стойбищу, и начнут приближаться к дымным кострам. Но волнение все равно нарастало: сейчас юкагирский богач Куриль прикажет пастухам пригнать сюда стадо, которое трудно окинуть одним взглядом, и тогда у каждого совсем уж бешено заколотится сердце и станет понятней борьба и переживание гонщиков, в вихрях снега рвущихся к цели.

Проводив упряжки, богачи сели на нарты, поставленные в ряд. Никто из них не хотел выдавать того, что было на сердце. Но сохранить спокойствия сил не хватало. Тинелькут, показывая свою уверенность, которую будто бы никто не может понять, начал есть жирное мясо. Однако первый же кусок он не донес до рта: а вдруг этому Курилю и в самом деле поможет бог? Как же заранее он не узнал, из – за чего назначены гонки! Просто проиграть и то страшно. А тут еще проигрышем помочь прославиться юкагиру… Не меньше Тинелькута волновался Куриль. По его лицу, по крепко сжатым губам могло показаться, что он спокоен. Но его выдавали резкие движения. Он то пристально глядел на Сайрэ, сидевшего прямо на снегу недалеко

[57] Примерно 15 км.

от Мельгайвача, то резко отворачивался от него в сторону Тинелькута; потом он начинал вставать, отыскивая глазами кого – то из своих людей. Все богачи, купцы и простые люди знали, как ему будет плохо, если Пурама приедет не первым: именем бога нельзя шутить… В противоположность ему, Мельгайвач сидел очень смирно, однако представляться больным и безразличным к своей судьбе терпения не хватало – глаза его сами собой перекатывались из стороны в сторону. И у Куриля замирало сердце, когда он перехватывал встречные взгляды его и Каки. Ему казались недобрыми эти взгляды, этот бессловесный разговор чукчей – шаманов.

Куриль встал и обернулся назад.

– Нявал! Тебе вызывать призовой табун. Иди. Пригоните его сюда и передайте в руки тем, кому повелит бог…

Куриль перекрестился, а сам подумал: «Если проигрывать, то лучше всего ламуту Едукину».

Нелегко ожидать победу, но куда трудней добывать ее.

Как только упряжки вырвались на простор и перестали мешать друг другу, тундра огласилась криками двадцати трех здоровых отчаянных гонщиков. Каждый старался определиться, где выгодней ехать. Едукин, Кымыыргин, двое чукчей и еще гонщики ламутских оленей решили быть впереди – они мчались густой кучкой, но сильно не отрывались от остальных. Нашлись такие, кто предпочел быть последним: израсходовать силы – это не хитрость. Пурама ехал посередине и считал это самым верным: когда знаешь, кто впереди, кто сзади – легче бороться. Найдя себе место, Пурама успокоился. Позади сильных противников не было – сын Тинелькута выехал на каргинах, а разве можно каргинов принять в расчет! Чуть тревожил его Ланга, гнавший ламутских оленей. Но Ланга не три луны готовился к состязаниям…

Так, изредка меняясь местами, гонщики одолели четвертую часть пути. Кымыыргин и Едукин часто оглядывались. Видно, их беспокоило то, что Пурама выжидает и не теряет ума. Они тоже не теряли ума, и гонка пока что устраивала всех – продлилось бы так до поворота и еще немного на обратном пути… Все знали, однако, что этого не случится.

Совсем неожиданно Пурама увидел мелькнувшую мимо него упряжку Ланги. И он не успел сообразить, что же случилось, как вслед за Лангой на одном полозе проскочил Нутувги – сын Тинелькута. Словно пуля через кусты, промчался Ланга между упряжками головной кучки – и погнал, погнал оленей, все уменьшаясь и уменьшаясь. На какое – то время все растерялись. Но Пураму обогнали первого, и он быстрее других сообразил, что делать. «Это не страшно, – подумал он. – Но не подразнить ли передних?» Он натянул вожжи, олени шире метнули ноги. И вот уже позади остался сын Тинелькута. А Пурама взмахнул вожжами, крикнул; олени еще прибавили ходу – и суетившиеся на нартах Кымыыргин, Едукин и все остальные уплыли назад.

Если бы в это время возле дороги оказался слепой человек, он мог бы подумать, что целое стойбище, бросив жилье, рванулось к какому – то рубежу, где всех ожидает великое счастье, или, напротив, несется от страшной беды, преследующей по пятам. Топот копыт, свист вожжей, удары полозьев о снежные заструги, звон постромок, натянутых будто струны, гиканье гонщиков… Пурама не видел этого охватившего всех порыва. Он оглянулся позже, когда сзади творилось что – то невообразимое. Задние нагнали передних – и началась потеха – неразбериха. Одни стегали оленей, крутя вожжами над головой, другие били их палками, кто – то свалился с перевернутой нарты, чьи – то упряжки спутались, и возле них суетились, ругались гонщики… Пурама так громко захохотал, что олени вздрогнули и еще набавили ходу.

А вот и едома Норенмол. Вот она, долгожданная! Теперь – поворот. Перегнать бы еще Лангу, да он недалеко, и олени его устали.

Опередив всех, Пурама перевел оленей на рысь и, вздохнув, начал думать о том, как ехать дальше – подождать ли других, чтобы передохнуть, или постараться быть первым. Осилена лишь половина пути, и торжествовать еще очень рано: многое может перемениться… Ничего

еще не придумав, он натянул левую вожжу, поворачивая оленей, – и вдруг съежился от неожиданности. В лицо ему полетели ошметки снега, по ногам чуть не стукнула нарта – пулей мимо него проскочил Кымыыргин. Пурама тряхнул головой, а в это время, словно стрела, мелькнула вторая упряжка – это Едукин чуть ли не по воздуху пролетел. Дробно стуча копытами, на поворот выскочили и каргины гонщика Тинелькута.

Ошеломленный, бессмысленно перебирая вожжи, Пурама только моргал, глядя, как впереди одна за другой отмахивают дорогу упряжки. Но у него были верные стражи – глаза. Они – то и решали все за него: впереди оказался подъем, и совсем незачем было сейчас что – то делать – выскочить наверх на большой скорости, значит, многое потерять.

Так оно и случилось. Сверху вниз Пурама полетел как ветер. Отдохнувшие его олени не испугались разгона и понеслись, понеслись, оставляя позади одного, другого, третьего гонщика.

А теперь можно было вздохнуть по – настоящему и приготовиться к самому глазному, к борьбе за победу, к борьбе с теми, кто сумеет сохранить силы оленей. Пурама уже видел сбоку остановившиеся упряжки – это бросали игру гонщики, понявшие, что бороться дальше расчета нет. Безнадежно отстает и сын Тинелькута…

Три противника оставались у Пурамы – Кымыыргин, Ланга и Едукин. Все они недалеко, и вместе с Пурамой они набираются сил.

Пурама ожидал, конечно, что задние еще настигнут его, может быть, даже немного опередят. Но случилось самое худшее. Кымыыргин с одной стороны, Едукин с другой промчались мимо него. А тут еще подоспел Ланга – он тоже обошел Пураму и встал как раз перед ним. А первые двое – ламут на сильных оленях и дьявол чукча тоже на сильных оленях все удалялись и удалялись. Не помня себя, Пурама с такой силой врезал одному и другому оленю ремнем, что сразу весь утонул в непроглядной снежной пыли. Каким – то чудом он не столкнулся с Лангой. Но, даже обогнав первого, он нисколько не успокоился и все хлестал и хлестал оленей, не щадя ни их, ни себя. Вот он, Кымыыргин, – близко. Он с ног до головы закидан снегом, как пень в лесу. И олени его от инея белые – пар у них из ноздрей вырывается тучами. А Пурама бьет и бьет вожжами и наконец перегоняет его. Но впереди Едукин. Его разглядеть невозможно – он тоже купается в клубах пыли и пара. Только догнать бы Едукина, только догнать бы! А там… Но сбоку храпят олени дьявола чукчи.

Какой – то миг Пурама и Кымыыгрин летели рядом, не понимая, кто из них хоть чуть отстает: ошметки снега из – под копыт и вихри пыли заставляли глядеть только вниз. Но тут что – то произошло. Кымыыргин вдруг как – то сразу скользнул вперед и исчез, а левый бур – олень Пурамы с разгона свалился в снег, правый же дернулся, словно наткнувшись на стену, и медленно поволок нарту.

Пурама соскочил на снег – и в руках у него оказалась лямка, разрезанная наискосок возле постромки. От гнева у него не было сил заскрипеть зубами или назвать сирайканом чукчу. Сердце в его груди так колотилось, что от напора крови потемнело в глазах. Дрожащими руками, ничего не видя перед собой, Пурама привязывал лямку к постромке. Он привязывал ее долго, так долго, что уже слышал крики людей, встречавших победителя гонок. Не спеша он взял вожжи и сел на нарту. И только теперь понял, что ни Едукин, ни Кымыыргин еще не успели выскочить на равнину едомы.

И Пурама проскрипел наконец зубами. Дико крикнув, он хлестнул изо всех сил левого, затем правого оленя. Потом выхватил из – под сиденья кенкель[58] и начал бить им и того и другого. Он уже хорошо видел три тонких дымка, скрестившихся в небе, видел даже толпу людей, стеной стоявших на самом высоком месте едомы. А левый олень его мучился – лямка

[58] Кенкель – длинная палка.

было узковатой, с узлом, она мешала ему, и правый не мог приспособиться – то заворачивал в сторону, то отставал, несмотря на удары.

А впереди теперь было трое – Ланга тоже успел обогнать его. И Пурама от досады, наверно, заплакал бы, но глаза его уловили что – то такое, отчего снег опять сделался белым, небо синим, а солнце красным. Может, его оленей потихоньку подталкивал бог, а может, напротив, бог придерживал тех, что были ближе к кострам? Бог – не бог, но Пурама явственно видел, что расстояние между ним и Лангой сокращается и что две остальные упряжки вовсе не летят, как на крыльях. «Да ведь на взволок идем… – догадался он, трясясь будто в ознобе. – Мои отдохнули, пока стояли, – олени мои… И нарта моя самая легкая…»

Он вдруг выкинул палку – лишнюю тяжесть и с такой силой опоясал вожжами левого, что тот пригнулся и прыгнул; тотчас же он опоясал и правого – и сам едва удержался на нарте. Олени теперь летели прыжками, а Ланга наплывал на него, наплывал – будто ехал назад, в обратную сторону.

Проскочил Пурама мимо Ланги – и пошел нагонять второго. Едукина. Но лямка… Как же мешает узкая лямка оленю! И как она не развяжется!..

Поплыл на него и Едукин. Бьет Едукин палкой оленей, а они будто не чувствуют боли – все так же медленно бросают ноги.

Еще шагов двести, а там равнина. Догнать бы Едукина!

А народ кричит, машет руками, топчется, пляшет…

Есть! Уплыл Едукин назад. Но впереди Кымыыргин. «Сирайкан Кымыыргин, сирайкан! Срезал мне лямку, срезал – я всем покажу… А оленей этих я тебе, Куриль, не отдам, не отдам, если даже и проиграю…»

А у оленей нет уже сил. Они не чувствуют боли, они, наверное, знают, что все равно упадут и подохнут…

Последний перелом тундры – дальше ровное место. Пурама соскочил с нарты, побежал рядом с упряжкой.

Ха! Да ведь и олени чукчи не бегут, а тащатся! Языки – то красные вывалили – словно собаки, и дышат совсем по – собачьи. И это – на ровном месте… Пурама разбежался, прыгнул на нарту и подтолкнул ее. Стегнув по бокам своих многострадальных оленей, он начал кричать на них и крутить ременными вожжами над головой.

С победным шумом он и хотел промчаться мимо гонщика Мельгайвача, но вдруг дернул вожжу и отвалил в сторону. В руке Кымыыргина ярко блеснул на солнце прижатый к рукаву нож.

Бешеным зверем глянул шаманский гонщик на Пураму – сорвалось у него и в такой момент. И он насел на оленей – начал хлестать их по чем попало.

А толпа орет, прыгает, расступается.

– Олени мои, олени, – дрожащим голосом вслух лепечет Пурама и уже не бьет их, а только из последних сил натягивает ремни. – Немножко, еще немножко… Во – от, во – от. Отстал. Отстал, сирайкан!.. Родные мои… Выдержали… Выдержали! Выдержали!

Он ногой ловко зацепил кольцо из тальника, к которому был привязан красный лоскут – знак первого приза, – и влетел в прогалок ликующей, шумной толпы.

Бросив оленей и закрыв руками лицо, Пурама поплелся, не зная, куда и зачем. Во всем его теле от головы до пят что – то стучало, вырывалось наружу, а перед закрытыми глазами то разгоралось, то гасло желтое лучистое солнце.

Объятие дрожащих рук остановило его. Пурама открыл глаза и тихо засмеялся, глядя прямо в лицо Курилю.

– Ну, не умирай, Пурама, – весь светился, как предвесенний день, Куриль, богач Куриль, теперь слишком большой богач Куриль. – Молодец. Какой же ты большой молодец, Пурама!

– Одарить его надо, хорошо одарить! – бил его рукой по спине Мамахан.

– Можно, Апанаа, умереть. После такого дела можно! – сказал Пурама, которого вместе с богачами толпа тискала, сбивала с ног. – Только не от радости – это брехня. От стука в грудях! Да, Куриль, а Кымыыргин – сирайкан – срезал лямку на правом. Иди – погляди. И второй раз срезать хотел…

Куриль и Мамахан сразу освободили гонщика, раздвинули толпу – зашагали к упряжке.

А люди в это время ласкали оленей – кто целовал их в мокрые носы, кто прижимался щекой к их глазам, кто гладил спину, брюхо, бока.

Растолкав всех, Куриль сразу увидел узел с торчащими острыми концами и, взявшись за этот узел, решительно повернул упряжку, повел ее за собой – к тому месту, где стояли упряжки Мельгайвача и Каки.

Совсем сгорбленным сидел Мельгайвач на нарте. Перед ним, опустив голову, тяжело дыша, стоял Кымыыргин. А Кака шагал туда и сюда по вытоптанному снегу. Сайрэ возле них уже не было.

У Куриля на языке крутились такие слова, от которых и Мельгайвач и Кака, наверно, провалились бы в нижний мир. Но вид совсем недавно страшно богатого чукчи мог разжалобить даже медведя: теперь Мельгайвач был никем – просто чукчей, может быть, пастухом Каки. И язык у Куриля не повернулся.

Правый олень является главным в упряжке.

Зато у Пурамы с новой силой вспыхнула злость, и он, толкнув рукой в бок Кымыыргину – в то место, где висела пустая ножна, со счастливой издевкой спросил:

– Мэй, а где же ты ножик – то потерял?

Кымыыргин схватился за ножну, но тут же опустил руку и с такой ненавистью скосил глаза на Пураму, что Курилю пришлось встать между врагами.

А Мельгайвач, не выпрямляясь, повернул голову, увидел лямку, завязанную узлом, и тихо сказал:

– Плохо… Все плохо. Теперь еще и позор. Зачем Кымыыргин сделал так? Все равно бы тебе не отдали стадо, если б и первым приехал.

– А кто доказал бы? Может, он сам разрезал…

Заметив, что Кака куда – то исчез, Куриль догадался: не Мельгайвач, а Кака натравил гонщика. И он вдруг пожалел чукчу, на которого сразу свалились такие тяжкие беды.

– Может, Мельгайвач, ты обратно возьмешь хоть немного оленей?

– Нет, нет, Апанаа, – замотал тот головой и вытер варежкой слезы. – Я рад, что мои олени попали к тебе. Не хотел я, чтобы их на восток угнали. А ты, может, и вправду употребишь их на хорошее божье дело. И грехи тогда мне отпустятся… Да если бы ты состязания не назначил, я назначил бы сам, и все равно ты выиграл бы.

– Ну, живи с богом, – сказал Куриль и отвернулся. К нему навстречу шел Тинелькут, но он заметил медленно подъезжавшую упряжку – сильно заиндевелых оленей и усталого каюра – ламута. – Гость? – спросил он. – Издалека? Опоздал, мэй. Кончилось все.

– Нет, Апанаа! – крикнули из толпы. – Он ищет Едукина, чтобы помочь ему стадо гнать.

– Куда гнать? – удивился Куриль.

– На Индигирку…

Толпа грохнула таким дружным и неожиданным смехом, что приезжий вздрогнул и растерялся; ламут, однако, смекнул, в какой просак он попал, – и под еще более раскатистый смех завернул оленей, щелкнул вожжой и скрылся с глаз.

– Хорошие у тебя, Куриль, олени, – сказал Тинелькут, смущенно улыбаясь. – И гонщик у тебя лихой. Если нынешняя удача поможет тебе в хороших делах, я не буду жалеть, что проиграл, По обычаю все богачи и гонщики – победители собрались у костров, набросали в них мозгов и сала, а потом расселись на снегу, стали закусывать и пить чай.

Едома Артамона, наверное, никогда не была такой оживленной. Вся она кипела оленями и людьми; над этим подвижным, шумящим морем клубились дымы огромных, жарко горящих костров, уже хорошо заметных издалека в наступающих сумерках.

Когда чаепитие кончилось и настала пора всем расходиться, к богачам подошли пастухи и Нявал.

– Вот, значит, Куриль… – начал как будто ничего толкового не обещавшую речь Нявал. – Как ты приказывал, значит. Бог отдал тебе стадо. А мы тут говорили, что, может, через него бог и к нам ближе окажется…

– Хорошо, складно ты говоришь, – перебил его Куриль, поднимаясь. – Теперь что ж – остается проводить стадо…

Эти слова заставили Мельгайвача сильно вздохнуть и совсем согнуться над обглоданными костями. Бывший шаман и бывший богач тихонько толкнул локтем Кымыыргина – иди, мол, ты за меня. И Кымыыргин поднялся. Встали и остальные.

Проходя мимо костров, Куриль, Мамахан, Пурама сразу увидели запропастившегося Сайрэ. Они ничего не сказали друг другу, только переглянулись, но удивлению их не было меры. Шаман Сайрэ, улыбаясь и что – то бурча под нос, нюхал, целовал лежавших возле костра оленей, – тех самых оленей, к которым не подошел утром и на которых Пурама победил всех остальных – даже слышавших звон бубна, бубна Сайрэ. Сейчас шаман желал им долго жить и далеко бегать…

Все прошли молча мимо него, каждый по – своему думая о старике…

И погнали выигранное стадо Куриль, Тинелькут, Кымыыргин и Мамахан. Погнали, чтобы соединить его со второй половиной стада юкагирского головы.

На другой день, когда взошло солнце, все увидели, как сильно разбогател Куриль. Раньше стадо его занимало половину едомы, а теперь не умещалось на всей едоме.

Утром Мамахан отослал своего конюха в Булгунях и велел ему перегнать двадцать коней на хорошее пастбище, а также снова отправить посыльных на Алазею и к городу: пусть желающие готовятся к состязаниям конников.

А Куриль в это время одаривал всех своих близких. Кто получал двух оленей, кто пятерых, а кто и целый десяток.

Кака уехал, не попрощавшись. Когда уехал – никто не знал. Он ничего не сказал об этом Мельгайвачу, бросил его.

Зато пришел попрощаться сам Тинальгин. Он молча пожал Курилю руку да по – стариковски важно, покровительственно улыбнулся.

ГЛАВА 6

Как ни храбрился Хуларха, как ни старался, а пришлось ему признаваться в бессилии. Нет, Хуларха мог каждый день дергать тальник и таскать его на спине, мог носить из озера воду, кипятить чай, чинить и вязать сети, мог даже уплывать далеко на своей ветке, ловить чиров, а потом потрошить их, готовить юколу. Он все мог делать – даже без передышки, но ему не хватало дня и не было хоть маленькой, но постоянной помощи. Жизнь, однако, никак не считалась с тем, что ему не хватало. И стоило Чирэмэде, не вставая, проваляться на шкуре только одну луну, как Хуларха понял, что так он долго тянуть не сумеет. Он уж и тордох – то поставил совсем близко к воде, и спал очень мало, и не отказывался от помощи соседа Нявала и все же чувствовал, что ничего не выходит.

Иногда он бросал все, уходил далеко по берегу озера, садился под обрывом едомы – и долго глядел пустыми глазами на мутные волны, на стонущих чаек, на весь угрюмый, неласковый мир, который уж если невзлюбит кого из людей, так невзлюбит до самой смерти. Хулархе в такое время казалось, что стоит ему заплакать, заплакать навзрыд, громко, отчаянно, так, чтобы от слез напухли глаза, – как после этого наступит какая – то перемена. Вот он встанет, вытрет глаза, на что – то решится, придет в тордох, а там, у пуора, стоит жена, с хрустом режет юколу, ругает плаксивую Халерху и говорит ему твердым голосом: «Сходи, Хуларха, к озеру, умой эту грязнулю, а потом помоги мне принести шкуры в тордох…» Вот тут – то к нему и вернулась бы сила, и он – то уж знал бы, что дальше делать, как жить… Но слезы не появлялись. И медленно плелся старик домой с опущенными руками. Он останавливался перед дверью тордоха и долго думал о том, напоить ли горячим чаем больную жену и голодную дочь, сходив сначала за тальником, или заставить их потерпеть и попытаться поймать рыбы, которой слишком уж мало на вешале…

Однажды, когда Хуларха стоял на берегу вот в такой нерешительности, к нему подошел Пурама.

– Хайче, – сказал он, – может, тебе один мой совет поможет? Больно уж трудно тебе.

– Не – ет, – затряс лысой головой Хуларха, – никакой совет мне теперь не поможет. Года бы три протерпеть, дочь подросла бы – тогда уж другое дело.

– А вот я про это и собирался сказать. Давай сядем, отец. Нет, не в тордохе. Пойдем к воде – у воды голове прохладней и уму спокойней.

Идти к воде – три шага. Они сели. Пурама набил трубку и отдал ее Хулархе.

– Покури, хайче, и послушай меня… Заходил я по старой дружбе к Сайрэ. Ну, сам знаешь, слухи прошли – будто он ламутам и чукчам на гонках желал только не умереть, а на победу не вдохновлял. Да и Куриль говорит, что он делал больше добра, чем зла. Наверно, тут правда: детей защищал – потому, может, перестарался. И не безбожник он… Сели пить чай, попили, начал Сайрэ вспоминать страшные случаи. Я-то шаманскую речь понимаю – и думаю: может, обо мне что сказать хочет? Нет, вроде не получается. И тут он зачем – то вспомнил сказку о том, как молодая девушка и пастух убежали от своих родителей, стали жить в медвежьей берлоге, как родился у них ребенок и как они жалели потом, что не послушали мудрых людей. Кончил он сказку, замолчал, а Пайпэткэ все смотрит на него, все смотрит. И как польются у нее из глаз слезы!.. Сама вроде не плачет, а слезы льются. «Что с тобой, – спрашиваю, – Пайпэ?» – а сам все уже понимаю… Да это что – Сайрэ потом рассказывал, что она принесет хворост, увидит корень, похожий на человечка, обязательно обрежет лишние ветки, а человечка куда – то спрячет… Детей у них нету – вот она и страдает. А жить они стали неплохо – голодные не сидят, как ты… Я говорю Сайрэ: «А вы взяли бы на прокорм девочку или парнишку. Ланга трудно живет, Хулархе нелегко, есть и другие». А он отвечает: «Взял бы. И кормил бы досыта.

И Пайпэткэ было бы веселей. Да только как же спросить?»… Я скажу тебе, Хуларха, что после случая с Мельгайвачом Сайрэ будет стараться…

– Ланга, говоришь, может отдать? – спросил Хуларха спокойно – будто речь шла не о его ребенке.

– Да ты сам подумай, – сказал Пурама, – что тут страшного? Попроси его тордох переставить поближе – Халерха будет и мать и тебя видеть, а есть – пить у соседей дети легко привыкают.

– Э, нет… Ее же надо через кольцо передать! – немного отодвинулся от Пурамы старик. – А пройдет через тальниковый круг – плачь тогда или не плачь, а дитя не твое. Нет, не отдам.

– Послушай, – наклонился Пурама к его уху. – А что Сайрэ – тридцать лет от роду? Или сорок? Останется Пайпэткэ одна, замуж выйдет, и возмешь свою дочь к себе.

– Нет. Ждать смерти Сайрэ не буду. И дочь не отдам. – Хуларха возвратил Пураме трубку и встал.

– Я как есть говорил, – вздохнул Пурама. – На грех не толкал. А обиду на меня не держи.

И они разошлись.

Легко давать советы. А легче всего – несчастному. Пурама быстрей других проехал три якутских шагания – и получил за это полтора десятка оленей – от богача шурина, а если бы захотел, то получил бы и больше. Ему можно ходить по тордохам, раздавать советы, как Куриль раздавал после гонок оленей… Так рассудил Хуларха, утешая плачущую Халерху и собираясь идти за дровами.

И все – таки о предложении Пурамы он рассказал жене, когда напоил ее и дочь жиденьким чаем и задумался о завтрашнем дне. Рассказал не затем, чтобы узнать заранее известный ответ матери и этим подкрепить себя. Потеря всяких сил ожесточила его, и он хотел наконец услышать, думает ли она выздоравливать. Ответ Чирэмэде был, однако, таким, что Хуларха сначала не поверил ушам. Но вздоху облегчения и улыбке на болезненном, прозрачном и теперь очень скуластом лице не поверить было нельзя.

– Это было бы хорошо, – сказала она. – Сайрэ всегда желал нам добра. И видно, добрые люди подсказали тебе.

– Пурама приходил… – Хуларха подполз на четвереньках к спящей дочери, посмотрел на нее, а затем попятился и быстро ушел из тордоха.

Настала наконец перемена в жизни бедной семьи. Хуларха воспрянул духом. Выгребая ветку к рыбному месту, он веселей поглядывал вдаль, руки его действовали проворнее, чем в прежние дни. Он понимал, что жене очень плохо – раз она не видит другого выхода. Но дочь – то будет сыта, ему станет легче – и, глядишь, жена пойдет на поправку. А там будет видно…

И через несколько дней Хуларха привел девочку к тордоху Сайрэ. Халерха уже все понимала; она давно не носила ару[59], играла с Ханидо в оленя и волка, а то и одна убегала на холм за стойбище. От раны на ее животе остался лишь белый шрамчик… Игра взрослых ей не понравилась. Хоть дедушка Сайрэ и присел на корточки, улыбаясь и расставив руки, чтобы поймать ее, хоть красивая тетя Пайпэ и манила ее к себе, она уперлась в колени отца, начала озираться, как дикий зверек, и не хотела пролезать через кольцо, согнутое из прутика. А когда отец нагнулся, прижался щекой к ее щеке, а потом подтолкнул в кольцо – Халерха стала брыкаться, выкручиваться и вдруг завизжала, заплакала, хватаясь за руки и ноги отца.

С трудом удалось вручить девочку новым родителям. Несколько дней Халерха ничего не ела и не пила. Она или кричала, или спала. Сайрэ попеременно с женой пришлось сидеть и охранять дверь.

А в тордохе Хулархи стояла жуткая тишина: больная мать, вперив глаза в ровдугу, часто дышала, приподнималась на локтях, чтобы убедиться, не обманывают ли ее уши. И плач – то

[59] Ара – съемный клапан из мягкой шкурки, нечто вроде подгузника.

доносился до нее еле – еле, но она все слышала. Старик Хуларха жил беспокойно – то брался за любое дело с горячностью молодого мужа, то вдруг надолго цепенел и не замечал вокруг себя ничего.

Но время успокаивает кого угодно. Халерхе захотелось есть, а потом и понравилось быть всегда сытой. Да тут еще ласки и разговоры, по которым она успела соскучиться.

Сайрэ был до глубины души тронут людским доверием. Ему отдали ребенка! Слава сильного шамана – тяжелая слава. В ней перемешаны и добро и зло. И видно, сам бог надоумил людей передать ему в дочери Халерху, чтобы они поменьше думали о его первой в жизни жестокости и чаще вспоминали о детях, которых он защищал. Пусть и Куриль теперь скажет, что все шаманы – черти: детей на воспитание чертям не отдают… Впрочем, старику Сайрэ и без того надоела безрадостная жизнь, и не просто безрадостная, а переполненная еще и тревогой. Никогда и ничего шаман так не боялся, как сейчас боялся беды Пайпэткэ. Если с ней опять случится несчастье, он пропадет. Невиновный, в сущности, Мельгайвач, так страшно искупавшийся в своей крови, разоренный до конца, ставший простым пастухом Каки, а потом сумасшествие Пайпэткэ – это слишком много, чтобы люди думали о нем как о добром шамане. Тут уже одно к одному; глядишь – и в доброте увидят корысть. Быть жестоким Сайрэ не хотел – потому что жестоких бог не принимает к себе. И страшней всего было то, что сколько бы он ни камланил в последнее время, к нему ни разу не приходила догадка – чем оправдать беду Пайпэткэ, если беда случится при людях, во второй раз…

Теперь, когда он часто держит на коленях названую дочь, рассказывает ей сказки и кладет ее на ночь не сбоку, а посередине, между собой и Пайпэткэ, – дышать стало легче и тяжкие думы растаяли, как на ветру комариная туча.

И уж совсем неожиданной была эта радость для Пайпэткэ. Стояли как раз теплые летние дни, и когда Халерха накричалась вдоволь, потом до того наелась, что живот натянулся, как бубен, – они вместе ушли из тордоха далеко на берег Улуро. Тут Халерха и заснула на коленях красивой молодой тети, которая гладила ее по голове, прогоняла веткой злых комаров и, напевая, смотрела на синее озеро и на чаек в голубом небе. Хуже было, когда возвращались к стойбищу. Халерха захотела идти к маме, а не к хайче. Пришлось взять ее на руки, уговаривать и пообещать отпустить к маме завтра.

Ее и отпустили назавтра. Но она быстро вернулась – потому что дедушка Сайрэ велел Пайпэткэ шить ей одежду из новых и мягких шкур.

Пайпэткэ с утра бегала по стойбищу в поисках подходящей одежды, чтобы по ней выкроить для Халерхи шубку и все остальное.

Так и потекли летние дни, полные семейных хлопот и радостей. А однажды в тордох явился весь испачканный глиной Косчэ – Ханидо и серьезно сказал, что хочет поиграть со своей женой. И тут первый раз за все годы Пайпэткэ и Сайрэ рассмеялись, рассмеялись дружно, с какой – то прорвавшейся безудержностью – точно все прошлое было зряшной игрой в неудачную жизнь.

Сайрэ стал ходить по стойбищу как молодой – немного подпрыгивая, а его жену люди заставали озабоченной или веселой – она за шитьем пела песни, ловко орудовала у пуора, даже сплетничала. Дети играли вокруг тордоха, а если уходили на берег, к родителям Халерхи, то возвращались как ни в чем не бывало. И хоть однажды старик Хуларха сказал, что его жене вроде становится лучше, это не насторожило ни Пайпэткэ, ни Сайрэ. Потому что дело сделано полюбовно, да и было условие, что девочка может встречаться с родными, когда захочет.

Лето перевалило за середину. С каждой ночью солнце все глубже и глубже цеплялось за горизонт. Стойбище жило заботами о зиме и еще разговорами о божьем доме, который будто бы с покрова собираются строить Куриль с Мамаханом.

В эти дни в тордох Хулархи пришла коварная радость: поднялась на ноги Чирэмэде. Подняться – то она поднялась, и хорошо ей было узнать, что муж заготовил, наверное, больше других юколы, но вот дочери теперь у нее не было.

А для ее дочери между тем будто только теперь наступила весна. Лицо ее округлилось, ребрышки уже не прощупывались, как прутья в холщовом мешке. А сколько радости ей доставляли обновки! Сперва в одной пышной шубке, потом обутая и, наконец, одетая с ног до головы, она выходила каждый раз из торхода с застенчивой важностью, улыбаясь и тете, и дедушке, и каждому встречному.

Такой одетой по – зимнему, полненькой, очень довольной и увидела ее мать, случайно проходя мимо тордоха шамана. Чирэмэде не удержалась – схватила дочь, подняла мягонького, пухленького медвежонка на руки, прижалась щекой к лицу, начала нюхать, но вдруг опустила на землю и быстро – быстро пошла вниз, к своему пустому тордоху.

Что ж: мать остается матерью. И случай этот пришелся бы к ряду других – если б ночью не произошла беда, словно свалившаяся с неба и заглушившая всякие прочие разговоры и сплетни стойбища.

Со сложными чувствами легли в этот вечер спать Пайпэткэ и Сайрэ. Им было приятно, что долг перед бедной семьей они исполняют как надо, и в их сердцах даже стучала гордость: вот видите – они не могут, а мы без труда можем. Но горе матери и отца, так поспешивших с решением, заставляло молчать. С двух сторон обняв спящую девочку, они лежали не двигаясь, боясь поправить одеяло или покашлять, потому что любое движение или звук могли стать началом неловкого, тяжкого разговора о людской беде, заставляющей делать страшное дело.

Лишь к середине ночи Сайрэ захрапел. Только храпенье его тут же и оборвалось. Тихий, недетский плач, словно холодной водой, окатил его с ног до головы.

– Пайпэ – ты? Чего это ты? – спросил он, не зная, что и думать.

В ответ на это Пайпэткэ вдруг закатилась рыданием. Она стала крутить головой по свернутой в валик дохе, метаться, точно в жару.

– Да ты что, Пайпэткэ? Никак заболела? Ох, несчастье – то…

– Где несчастье? Здесь несчастье! – она постучала рукой по своей груди. – Ребенка мне дай!.. Да ты не поймешь… Одноглазенького, как ты, малюсенького. Однорукого, одноногого! Дайте ребеночка мне! Моего! Жалко вам, что ли? – Она захрипела и опять начала метаться.

Халерха вскочила, прижалась к Сайрэ, а тот, гладя ее дрожащей рукой, онемел, не зная, что делать и что сказать.

Прикрыв рот руками, Пайпэткэ голосила, шумно набирала воздух и опять голосила, не переставая крутить головой.

Сайрэ знал, что если как – нибудь не утешить ее, то может произойти самое худшее. С ней уже было это – тогда, морозной и вьюжной зимой, он успокоил ее обманом, а потом напоил горькой водой – и вернул рассудок. А что придумать сейчас? И медлить нельзя – разойдется, вскочит, начнет хохотать и побежит по стойбищу… Сайрэ решил как можно ласковей и спокойней заговорить с Халерхой – ничего другого в голову не пришло.

– Видишь, – заболела наша тетя Пайпэ… Заболела… Все болеют. И у меня спина болит, и давно болит. Только я мужчина, а мужчины не плачут… – Он прицепился к мысли о своей трудной стариковской судьбе, стараясь разжалобить и девочку, и жену.

И это подействовало. Пайпэткэ начала прислушиваться, прислушиваться и наконец замолчала.

Так они и забылись, придавленные невыносимо тяжелыми мыслями. По – настоящему заснула лишь Халерха. А старик только дремал, будто повиснув в густом тумане. Он не спал – и все – таки не слышал, как Пайпэткэ ушла из тордоха.

Вскочил Сайрэ, ничем и никем не разбуженный, – и сразу бросился к выходу.

То, что увидел Сайрэ, могло бы лишь рассмешить, если б это не было самым страшным. Пайпэткэ сидела на старой, ненужной нарте и выгибала из прутиков человечков. Она уже сделала двух – они лежали перед ее глазами на вытоптанной земле – и сейчас трудилась над третьим, высунув набок красный язык. Шаман сразу обмяк, плечи его обвалились, как подгнившие жерди. А Пайпэткэ повернула к нему лицо и улыбнулась. Гадкой и жалкой была эта улыбка, и старик весь передернулся.

– Что же ты делаешь? – тихо, дрожащим голосом заговорил он, зная, что никаких слов теперь и не нужно. – Ты ведь чертей делаешь… Вселятся в них злые духи… Ты спать хочешь, Пайпэ… Пойдем… – и вдруг Сайрэ повернулся, сгорбился и, беззвучно плача, подергивая плечами, ушел в тордох.

Он вытащил из мешка бубен, повертел его в руках – и бросил: застучать – значит разбудить Халерху, разбудить стойбище. Но, может, еще обойдется, может, повременить?

Утро было ужасным. Совсем не зная, что делать, шаман сидел возле двери, бубнил что – то себе под нос, не выпуская жену на люди. А тут поднялась Халерха. Ее надо было покормить, но старик лишь прижал ее к себе и гладил по косматой головке, продолжая шептать заклинания.

А Пайпэткэ рылась в мешке, выкидывая шкурки. Она зачем – то искала и складывала в кучу обрезки, которые остались после шитья. Потом она расстелила пыжик, сложила в него обрезки и начала делать сверток. Поднявшись, прижав этот сверток к груди и покачав его, как ребенка, она вдруг выскочила из тордоха. Сайрэ успел только рот раскрыть.

Оборвалась одна жизнь – начиналась другая… Схватив бубен, старик закричал, затопал ногами…

И стойбище засуетилось, народ потянулся на звон тревожного бубна.

А Халерха потихоньку выбралась из тордоха. Никем не замечанная, она увидела разложенных на земле человечков, села и начала с ними играть.

От этой игры ее оторвал суматошный шум. Прямо к ней шли люди, держа под руки громко кричавшую, терявшую обрезки шкурок тетю Пайпэ.

Увидев Халерху и в руках ее человечков, Пайпэткэ вырвалась, бросилась на колени, мгновенно выхватила человечков, прижала их к груди и заплакала. Но сразу же оборвав плач, она заскрипела зубами, перекосила лицо, Халерха побледнела, заморгала часто – часто, но не сдвинулась с места.

– Покалечила… Детей моих покалечила! – хрипло проговорила косматая Пайпэткэ, выпуская изо рта пену. – Смотрите – у этого ручки нет…

Еще миг – и она вцепилась бы в Халерху. Но ее схватили, потянули назад.

– Шубу я не отдам! Не отдам! Не для нее шила. Для своих детей шила. А знаете, сколько детей у меня! Три мешка… – И она захохотала.

Халерха бросилась со всех ног. Она упала, поднялась и опять побежала.

К середине дня Халерха не вернулась. Ее не было ни в тордохе шамана, ни в тордохе настоящих родителей.

Хуларха и Чирэмэде начали метаться по стойбищу. Заскочили они и к соседу Нявалу, хотя к нему надо было прийти в первую очередь. Халерхи здесь тоже не было. Старик Нявал беспокойно вязал сеть, дергая нитку; на вошедших он и не взглянул – нынче все шныряли из тордоха в тордох. Да и сам он только что был у Сайрэ.

– Ханидо! – обрадовалась Чирэмэде, увидев сына Нявала. – Ты с Халерхой не играл?

– Играл.

– Где играл?

– Там.

– Где там? Покажи.

Нявал швырнул челнок.

– Это… что? А? Беда какая опять?

– Халерха пропала.

– Не пропала, – сказал Ханидо. – Она теперь жить будет одна.

– Как – одна? Где? Покажи.

Они все вышли из тордоха, и Ханидо протянул руку, указывая на небольшой холм с обрывом:

– Там она будет жить.

– Ой, как же так? Ой, чует сердце беду, – запричитала Чирэмэде, бросившись бежать прямиком к холму.

Сил у Чирэмэде после болезни было немного, и она быстро отстала даже от мальчика, не поспевавшего по траве за мужчинами.

Холм голый, как лысина Хулархи. Кое – где на нем виднеются кучки мусора, осмотреть которые очень просто. Правда, весь он изрыт песцами и волками, но песцовые норы узкие, в них ни за что не пролезет ребенок, а волчьи хоть и пошире, но в них тоже нельзя забраться, да они неглубокие и немного их. Здесь трудно было б найти щенка. Но Халерха ведь большая…

Поднявшись на холм, Хуларха и Нявал стали кричать и оглядываться. Потом разошлись в разные стороны. Они продолжали звать Халерху, останавливаясь, ковыряя ногами мусор, заглядывая в широкие норы. Девочка не показывалась и не отзывалась.

Когда Ханидо и Чирэмэде подошли к Хулархе, тот уже тяжело дышал и был растерян, словно ребенок.

– Нету? – спросила Чирэмэде, сжимая грудь растопыренными пальцами. – Я знала, что нету. Что же теперь делать, что ж теперь будет?

Хуларха беспомощно вздернул плечи, развел руками.

– Ханидо, где ты оставил ее?

Сынишка Нявала сдвинул брови и начал осматривать землю вокруг себя. Для такого маленького человечка холм был слишком велик, чтобы не растеряться, да и примет – то никаких нет – пойди, отыщи среди тысяч норок и ямок одну! Ханидо закусил губу и мучительно, словно взрослый, припоминал.

– Там! – вдруг сказал он, показывая на землю в двадцати шагах от себя.

Он с такой же уверенностью мог бы ткнуть пальчиком и в противоположную сторону. Если бы он имел в виду обрыв или кучу мусора, родители Халерхи, конечно, сейчас же полетели туда. Но нет – он показывал на голое ровное место, и Чирэмэде лишь скривила губы.

– Ну, иди, – сказала она упавшим голосом мужу.

Ханидо побежал первым, и Хуларха безнадежно поплелся за ним. Мальчишка сразу же упал на землю, – там, наверно, была нора.

– Халерха-а! – пропел он. – Халерха!..

Но отец даже не наклонился: нора, в которую кричал Ханидо, была такой узкой, что туда могла бы пролезть лишь нога до щиколотки.

Подошла Чирэмэде. Она поглядела и отвернулась, поняв, что надеяться на ребенка нечего.

– Халерха! – уже сердито крикнул Ханидо. Он растерянно скосил черные глаза на отца пропавшей подружки и пожал плечами.

– Она сказала тебе, что будет жить в норке? А может, там, где озеро? – спросила Чирэмэде, удивившись упрямству мальчика.

– Нет – здесь, здесь она будет жить! – твердо сказал Ханидо, вставая; для убедительности он потопал ногой по самому краю норки. Глядя прямо в глаза Чирэмэде, он рассудил со вздохом: – Шубку мама Пайпэ отняла у нее, и ни одной мамы теперь у нее нет. А в норе тепло; там очень тепло – я знаю. И зимой будет тепло…

Он продолжал рассудительно и сочувственно глядеть в глаза матери Халерхи, не замечая, как все лицо ее наливается бледным бешенством.

– Кукул… – прошептала Чирэмэде, а потом захрипела: – Кукул… Кукул! Ты подсказал ей, ты!.. Все из – за него, из – за него! Дочке моей в земле будет тепло… В земле! Ты, Хуларха, слышишь, что говорит этот кукул? Из – за него все – и кровь, и болезни, и наши несчастья.

– Что причитаешь, что клянешь маленького? – одернул ее муж. – Не искали еще. Поищем – найдем.

– Ты… это… значит, сестра, зачем? Бога гневишь зачем? – вступился подошедший Нявал. – Бог послал его нам, а ты – кукул говоришь. – Он погладил сына по раскосмаченной голове. – Пойдем, Ханидо, в стойбище – людей позовем. Ты это нехорошо сделал – Халерху бросил.

Притихший, испуганный бранью, Ханидо исподлобья, как связанный зверек, поглядывал то на Чирэмэде, то на отца. И все – таки у него хватило духа сказать:

– Здесь Халерха – я знаю.

– Ладно, пойдем, – взял его за руку отец.

Оставив шамана Сайрэ наедине с помешанной, все стойбище от мала до велика потянулось к холму и к ближней едоме. И сразу же тундра, прибрежные обрывы и озерная гладь огласились протяжными криками.

Старик Сайрэ криков этих сначала не слышал, а может, слышал, да не обращал на них никакого внимания: девочка – не трубка, которую можно навсегда потерять в траве. Однако время шло, шло и шло, а люди не возвращались. И то удалявшиеся, то приближавшиеся голоса начали стегать его все больней и больней – пока он с ужасом не понял, что ему на плечи карабкается еще и вторая беда.

В углу тордоха сидела растрепанная, безобразно чесавшая ляжку жена; все лицо ее, искаженное глупой улыбкой, было измазано кровью – следами от раздавленных комаров. Стойбище словно вымерло – в нем остались лишь древний, глухой старик, две женщины с грудными детьми да он, попавший в ловушку шаман. И Сайрэ, как очутившийся в тундре ребенок, которому никто не может помочь, заплакал по – старчески, по – детски, во весь голос, навзрыд.

Но вдоволь наплакаться ему не пришлось: Пайпэткэ подобралась к нему на четвереньках – и, высунув набок язык, сопя, начала гладить по голове. Он оттолкнул ее изо всех сил и перестал плакать, зло заиграв желваками.

Прошла середина дня. Люди не возвращались, девочка не находилась.

А к вечеру он узнал, что люди обошли берег, облазили ближние скалы, оглядели почти все тальники и каждую норку на холме и берегу, но от Халерхи не было ни следа, ни звука.

Голодный, совсем убитый этой вестью, Сайрэ чуть забылся, а когда очнулся – увидел спящую Пайпэткэ и потемневший онидигил. Ничего не соображая, он выбрался наружу и быстро заковылял к озеру, туда, где стоял тордох Хулархи. Над стойбищем проплывала грязно – синяя туча и из – за таежного горизонта тоже ползли лохматые чудища дождевых туч; в мутно – красном свете жалобно пели комары – точно вдалеке плакали женщины; Малое Улуро морщилось волнами, а берег был белым от пены, как губы шамана во время камлания… Не дойдя до тордоха, Сайрэ вдруг повернул обратно. Но и до своего тордоха он не дошел – снова заковылял к озеру. Так мечется человек, который боится мертвеца, но которого все – таки к мертвецу тянет. Впрочем, шаман и в самом деле боялся подступиться к жилью Хулархи – туда вот – вот могли принести маленький трупик.

И у Сайрэ едва не подкосились ноги, когда он услышал тяжелое дыхание мужчин, а затем увидел толпу, что – то несущую на руках. Он шмыгнул за ближний тордох и с колотящимся сердцем начал подглядывать, топчась на одном месте. Нет, несли не девочку – несли женщину. Мать Халерхи несли, верней, волочили. У Сайрэ отлегло от сердца: волочат – значит, жива. «А

где же девочка? Может, ее другие несут?» – Старик опять насторожился и начал всматриваться в даль. Нет, люди плелись с холма поодиночке, по двое и, кажется, ничего не несли.

«Не нашли девчонку», – решил Сайрэ и быстро, стараясь не столкнуться с кем – либо из людей, засеменил к своему тордоху.

Много горьких, тяжких и страшных ночей пережило бедняцкое стойбище. Но эта была особенной, не такой, как другие. Ужас черной птицей кружился не только в тордохе несчастных родителей. Люди в беде привыкли надеяться на шаманов, привыкли узнавать от них тайну, получать совет, а то и избавление от беды. Но на этот раз беда ворвалась и в тордох шамана, да не одна, а две сразу, да еще в тордох не простого шамана, сильнейшего и прославленного. И люди, вдруг лишившись надежды, растерялись, не зная, что делать, что думать. К тому же ночь была хмурой, ветреной и дождливой и тянулась она не по – летнему долго, будто нарочно растягивая тревогу.

Поздно вечером, в самую темноту, перед утром люди подходили то к тордоху бедного Хулархи, то к тордоху Сайрэ. Но лучше бы и не подходили. Под вой ветра и шум кипящего озера мать пропавшей девочки жутко кричала или причитала, словно помешанная, а Хулархa метался, без конца выбегая к берегу, о который хлестали тяжелые волны, – с ног до головы мокрый, он ни с кем не разговаривал, боясь выпустить изо рта трубку и в отчаянии разреветься. Зайти к шаману Сайрэ, потолковать с ним было страшно и безнадежно: укрывшись шкурой, старик лежал возле двери, вертелся, будто от нестерпимой боли, и громко, без перерывов стонал. Один раз к шаману все же зашли.

Муки Сайрэ совсем растревожили стойбище. Люди знали, что ему тяжело, но старик не просто страдал – он корчился, не мог говорить – и это казалось третьей бедой. А три беды, да еще таких, вырастали в напасть, которая неизвестно куда ведет и чем кончится.

Шамана, однако, не пожирали духи и корчила его не болезнь. Правда, его беспощадно грыз голод – так сильно, что сердце стучало будто не в груди, а в желудке, и совсем ничего не видел его воспалившийся зрячий глаз, но все это старик перенес бы без звука. Сайрэ подкосили видения. Как только хлынул дождь, он невольно представил себе одинокую девочку в тундре, мокрую, потерявшую голос от крика и холода, – и едва не закричал сам. А в следующий миг случилось настоящее чудо – Сайрэ почувствовал, что из – под ноги его выскочил камень, а тело ринулось вниз. Тоненький корешок, за который схватилась рука, остановил падение, но Сайрэ повис над обрывом и явственно увидел внизу острые камни и тинистую воду меж камней… Все это было давно, в тот день, когда сокол раскровавил ему лицо и когда к нему пришло вдохновение. Нет, он сейчас висел над обрывом, сейчас – не может же быть, чтобы спустя пятьдесят лет рука чувствовала, как сползает с корешка кожура, а носок ноги лихорадочно ищет опору!.. Испугавшись видения, старик сбросил шкуру, сел и перекрестился. Но вдохновение не пропадало. Глядя в кромешную тьму тордоха, Сайрэ вдруг увидел восходящее солнце со срезанною тучей макушкой, увидел девушку, робко шагавшую с подстилками на плече. И ему опять, как и в то хорошее утро, показалось, что солнце садится, но что сам он смотрит на землю сверху, из облаков… Видение это, однако, быстро сменилось другим: буран и мороз, и Пайпэткэ босиком бредет по сугробу – ищет следы. Громко и страшно ухает лед на озере. А вот уже и тот, чьи следы она ищет, – в огромной теплой яранге он кувыркается по лужам своей крови и обливает кровью богатые полога – серые, пятнистые, с подпалинами…

Чавканье грязи под ногами идущих людей оборвало видение. Сайрэ быстро лег, рывком накинул на себя одеяло – шкуру и, укрывшись с головой, застонал.

С вошедшими он не стал разговаривать. Он принялся стонать все громче и громче, пока не разбудил Пайнэткэ. Люди смолкли, пошептались и тихо ушли.

Они просили покамланить старику Хулархе – поискать следы девочки. Они надеялись, что великий шаман поднимется над своей личной бедой, а потом поднимется выше – и из верхнего мира посмотрит на стойбище и на всех юкагиров: может, не в духах дело, а в сатане,

может, надо ехать к попу и просить у него защиту?.. Сайрэ слышал каждое слово, но он еще не успел опомниться от страшных видений и вгорячах едва не закричал людям в спины: «Да, я во всем виноват, я! Как же не видите этого? И пусть меня одного покарает бог…» Но нет, он не закричал так. Потому что понял: люди лишь испугаются, уйдут – и сейчас же скажут, что он, как и жена, тоже теряет ум… Рассудив так, Сайрэ неожиданно успокоился: «Чего это раскряхтелся я! – скинул он с себя шкуру. – Беда с девчонкой – беда отдельная. Тут нету моей вины. Плохо с ней обращался? Еду и шкуры жалел? Все видели, что не жалел… – Старик на четвереньках пополз к мешкам, в одном из которых хранились бубен и амулеты. – К Тачане камланить пойду», – решил он, и рука его быстро нащупала ободок бубна.

Нет, старик шаман только храбрился: никуда идти он не мог, а камланить за эти сутки пытался не раз. Сайрэ недаром часто крестился, недаром вспоминал светловолосого бога. Еще прошлым утром, когда Пайпэткэ навсегда потеряла ум, он почувствовал на себе спокойный, но упрямый взгляд верхнеколымского старца шамана. С тех пор он почти беспрерывно видел его лицо – от мудрости помутневшие глаза, уверенно перекошенный рот и важно отвисшую нижнюю губу. Это он, безымянный шаман – якут, умевший глядеть далеко вперед, оставил ему врага, врага самого страшного и самого нужного – бродячего духа Мельгайвача. Он знал все, он и Сайрэ видел насквозь, как ледышку… И Сайрэ в этот тяжелый день тысячи раз свалил бы обе беды или одну из них на духа чукчи – потому что другого выхода у него не было. И люди поверили бы. Поверили – да не все и не надолго. Язык Лэмбукиэ иглой не проколешь. Пурама теперь наверняка дышит огнем: он советовал Хулархе отдать дочь, он и ищет ответ – почему все так получилось. Но, кроме них, есть еще и Куриль. Этот рассвирепеет, как весной медведица, – растопчет и заплюет тордох… Люди, однако, людьми: возненавидят – простят, убивать не станут, голодом не замучают. Перед богом страшно. А ведь была прямая дорога к нему, и была надежда вернуться после смерти на землю…

Озираясь по сторонам, Сайрэ сидел возле мешка и напряженно угадывал, какие слова придут ему на язык после того, как он распалится под грохот бубна. Так он никогда не делал: он считал нечестным, не достойным шамана заранее придумывать речи. Но сейчас он боялся самого себя. Не будет, не может быть иного видения, кроме того, которое знают все, – Халерху испугала сумасшедшая Пайпэткэ. Эта картина выплывет из черно – красных бликов, и никуда от нее не уйдешь. Придется сказать. Но тогда придется сказать и о том, почему Пайпэткэ – его жена, жена такого большого шамана – лишилась ума. Что начнет лепетать язык, что?

И тут Сайрэ вдруг закрыл руками лицо, заголосил, все сильней и сильней раскачиваясь из стороны в сторону. Он понял, что вдохновение было уже и все видения были; под грохот бубна видения эти лишь повторятся – только более ярко и более живо. След к девочке Халерхе потянется от его тордоха – другого начала нет и придумать его нельзя. Где и как оборвется след? А может, уже оборвался? А если утром мутные волны Улуро выбросят на берег мертвую девочку? Что скажут люди? Почему не помог, почему не камланил? И почему вообще такие страшные беды цепляют близких к шаману людей, близких и совершенно невинных?..

– Халагайуо![60] – выкрикнул Сайрэ и запричитал: – Всемогущий светловолосый бог! Найди и спаси девочку. Она не виновата ни в чем. А с меня и того хватит, что малый ребенок ушел в тундру из стойбища, ушел от шамана дряхлого и отца плохого…

После дождя сучья горели плохо, но люди поливали костры рыбьим жиром, бросали в него рыбьи пупки – и густые дымы из тордохов дружно тянулись в серое подвижное небо. Шли третьи сутки, как у бедного рыбака Хулархи бесследно пропала дочь, как сошла с ума жена у шамана и как сам шаман не показывался на глаза. И людям ничего не осталось, кроме обращения с мольбами и заклинаниями к властелину – огню Мэру[61]. Много судачили перед этим, в

[60] Халагайуо! – «Ой!» – междометие (от юкагир. «халиго» – «боязно»).

[61] Мэру – ритуальное название огня.

чем только не искали причину жестоких несчастий, какие ужасы не предсказывали на будущее. Но в конце концов сошлись на мысли, что юкагирам мстит бродячий дух Мельгайвача и другие чукотские духи и что надо ждать новых бед. Особенно усердствовали старухи и старики, знавшие грозную правду о тундре, о мстительных духах и не ожидавшие от жизни никакого добра.

Не все в этот день кормили огонь. Одни мужчины бродили по берегам, иные по ивнякам, по кочкарнику, по раскисшей тундре. А Пурама вроде бы ничего не делал – он слонялся по стойбищу и шептался с людьми. У Пурамы, однако, был замысел, но он побаивался говорить о нем вслух. Собрался он разрывать волчьи и песцовые норы – там, на холме, где играли дети. Ну, а кто ж сочтет его за умного человека: холм не кочка, нор не перечтешь, сырую глину костяными лопатами и топорами не очень – то раскидаешь. Да и как это можно раскапывать нижний мир?!

Зашел Пурама в один тордох – а там старые муж и жена по очереди поливают костер рыбьим жиром и по очереди бубнят заклинание:

– Кушайте, великие чукотские духи, кушайте! Мы преклоняемся перед вами. Не шаманы мы, а простые люди. Мы знаем, что вы не слепые и не глухие. Пусть ваши уши услышат нашу мольбу, а глаза посмотрят на нашу бедность. Видите наш тордох? Он пустой внутри и дырявый. А жалкую нашу посуду видите? Она чистая, потому что в ней давно ничего не лежало… Не трогайте нас, великие духи…

Берет муж из рук жены костяную ложку, берет черный котелок с жиром и тоже начинает кормить огонь и духов:

– Залатал бы я тордох свой, великие духи, да ровдуга вся прогнила, безоленный я человек. А на вешалах моих уже давно не висит ни одной юколы: вся съедена да променена. А как же зиму – то жить, великие духи? Зачем вы боретесь с нами, с такими бедными и слабыми? Пожалейте нас. Боритесь с сильными, а нас пожалейте, великие духи…

Послушал – послушал Пурама – да и ушел. Тут, видно, не до чужой беды – маленькая беда ворвется сюда, и пропала семья. И сил у мужика, наверное, нет, чтобы землю копать.

А рядом тордох старухи Лэмбукиэ. Вот здесь иной разговор будет. Пурама в дверь, а ему навстречу Пайпэткэ и старуха.

– Хороший у тебя сын, хороший, – выталкивает Лэмбукиэ сумасшедшую. – Вот счастье – то шаману Сайрэ!.. Ты только закручивай его лучше, а то маленькому после дождя холодно…

Высунув набок язык, несчастная красавица Пайпэткэ неловко пеленает дощечку от ящика, и дверь запахивается за ней.

– Уходите – ка, мужики, наружу: я одна заклинать буду, – прогоняет Лэмбукиэ мужа и гостя.

Кряхтя, старик поднимается от костра.

Стоя возле тордоха, мужчины безмолвно смотрят вслед Пайпэткэ, пошагавшей дальше хвастаться сыном – красавцем… Слова на язык не приходят.

А старуха уже причитает:

– Ой, великий огонь Мэру! Угости чукотских духов и передай мою просьбу. Пусть они не трогают нас, плохих и бедных людей, пусть не дразнят и пожалеют наших глупых, сопливых детишек, пусть они не повалят наши нищенские тордохи. О, великий хайче, огонь Мэру! Послушай меня и передай духам слова мои. Пусть чукотские духи нападают только на гордых людей, которые называют себя хорошими, пусть душат детей шаманов и богачей – сытых, чистых и довольных, пусть они повалят на землю огромные, как холмы, тордохи жадных людей. Огонь Мэру, передай бродячему духу Мельгайвача – пусть он мстит, но не близким к шаману нашему людям, которые не виноваты ни в чем, а самому шаману Сайрэ. Пусть поиграет с ним…

– Сирайкан старуха! – чуть не подпрыгнул на месте старик. – Что ты болтаешь там! – он откинул дверь и на четвереньках юркнул в тордох. – Грешные слова говоришь, безумная. Хайче, огонь Мэру! Моя старуха настоящая дура…

Мешать человеку во время кормления огня, однако, нельзя, и старик застонал.

Пурама не ушел. Он дождался конца кормления, а вместе с этим и конца ссоры.

– Бабушка Лэмбукиэ, выйди наружу поговорить, – попросил он.

– Что Пурама скажет? – вынула старуха изо рта трубку. – А чего не в тордохе сказать? Заходи.

– Лопата есть у тебя?

– Лопата? – глаза Лэмбукиэ с неодинаково нависшими веками сверкнули белками, а рука с трубкой начертила в воздухе перед грудью крест.

– Нет, что ты, старая! Совсем другое сказать пришел. Думаю, жива, может, девчонка еще. Не духи беду принесли, не от духов и помощи жди. Волчьи норы хочу на холме расковырять. Да одному тяжело. Хожу вот – людей зову. Пойдем и ты, Лэмбукиэ!

– А я не мужик. И какая копальщица я! – старуха протянула сухие морщинистые руки, но быстро убрала их. – На грешное дело зовешь! Холм копать, пробивать землю. А бог?

– Грехов на нашем стойбище мало? – вмешался старик. – Ты еще живым хочешь войти в нижний мир…

– Грехи, грехи! – разозлился Пурама. – А кто из юкагиров толком о боге что – нибудь знает? Будет церковь и поп – тогда и узнаем, что грешно, а что нет. А если не знаем, то за что же будет наказывать бог?.. Все пойдем. Может, девчонка в норе задыхается. За спасение, думаю, бог не накажет… Пойдете вы – и другие пойдут.

– Как ты сказал? От человека беда пришла? – спросила Лэмбукиэ и другим голосом пробормотала: –

Я на Сайрэ всю жизнь косо гляжу…

– Оттого и косая, – вставил старик.

– Косая, да не слепая…

Дымы над стойбищем потихоньку начали исчезать, и люди с роговыми лопатами, пешнями и топорами потянулись к холму. Старики шли молча, воровато оглядываясь назад, будто прося прощения у своих очагов, молодые тоже молчали, поглощенные ожиданием чего – то неожиданного, может быть, страшного, а детвора, запуганная стариками, жалась к матерям и отцам.

Пурама и Нявал решили раскапывать старые волчьи норы, заваленные мусором и сохлым бурьяном. Оба в свое время играли здесь и потому знали, что именно тут можно спрятаться. Они взяли лопаты, разом перекрестились – и ударили выше одной и той же норы. Грудка глины обрушилась.

– Это птичка клюнула, это птичка сделала! – проговорила выскочившая вперед шаманка Тачана. Она бросилась к другим мужчинам, начавшим рыть землю, и снова проговорила: – Это птичка сделала, это птичка клюнула. – Шаманка заклинала духов не беспокоиться и не злиться.

То, что увидели люди, когда мусор был раскидан, а старые волчьи норы раскопаны, никому из них и во сне не снилось. Там, в глубине холма, оказался настоящий песцовый город. В стойбище, наверное, не было человека, который в детстве не играл бы на этом холме, но никто и подозревать не мог, что внутри он дырявый, как оленье легкое. Ходы пронизывали его и так и сяк, пересекались, образуя большие ямы, расширялись, раздваивались. Увидев этот странный подземный мир, люди сперва оторопели, но потом с новой силой, с азартом взялись за дело. Никто уж не сомневался, что девочка где – то здесь.

Боязнь натолкнуться на мертвую и желание скорее помочь, если девчонка жива, сделали людей непохожими на себя. Они копали и рубили землю со злостью, с остервенением. Многие из них не так давно молились огню, думали только о духах и боге, но сейчас живой человек – Пурама – был для них и умней, и нужней любого шамана. Какой шаман подсказал бы, какой решился проломить нижний мир?! Правда, вслух говорили, что Пураму вразумил бог.

Почуяв, что люди напали на верный след, старик Хуларха побежал в стойбище за женой. Однако вернулся, смекнув, что жена тут же умрет, если дочь найдут мертвой.

Но Чирэмэде уже и без него обо всем сказали – и она сама кое – как добралась до холма.

Увидела Чирэмэде развороченный холм и дружно работающих людей – схватилась руками за голову, закричала не своим голосом:

– Не надо, не надо больше копать! Маленькая она, маленькая, а яма такая большая… Зачем ей такая большая могила?

Ноги у нее подкосились, и она упала, начав биться в судороге.

Ее подхватили и поволокли в стойбище: живого человека нельзя нести на руках – поднятый, он похож на покойника.

Взрослым с охотой помогали мальчишки. Они залезали в норы, исчезали там, кричали, звали Халерху, а когда выбирались наружу, – говорили взрослым, надо копать дальше или не надо. С ног до головы был измазан глиной и сынишка Нявала. Старик не щадил Ханидо: он заставлял его пролезать в узкие норки и часто вытаскивал обратно за ноги. Старику очень хотелось, чтобы именно его сын, а не чей – либо другой, первым нашел девочку. Человек темный, забитый до крайности, он, однако, хорошо понимал, что к чему. По его разумению, Халерха не должна умереть, потому что все норки в конечном счете выходят наружу, и дышать под землей, стало быть, можно. Ханидо предрекли большую судьбу, и кому, как не Ханидо, обрадовать стойбище. Да и Чирэмэде перестанет скулить, что его сын родился на погибель ее дочери.

Старался отец – и не замечал, что парнишка давно уже хнычет. Там, под землей, Ханидо звал Халерху не с надеждой, а с настоящей злостью. Но ведь это же под землей! А если он вылезет, то принимался усиленно ковырять пальцем в носу и скрывал слезы.

Когда дело подошло к сумеркам, а холм был порядком распотрошен, надежды погасли. Люди крепко устали. Начали говорить о неудаче, о том, что надо возвращаться к своим очагам. И тут вдруг обнаружилось, что исчез Ханидо. Нявал отмахнулся: сын, видимо, проголодался и убежал в стойбище. Однако неожиданно среди людей появился куда – то уходивший старик Хуларха, который остановился над ямой и, покачав лысой коричневой головой, проговорил:

– Зря. Все зря. Не тут копаем. Поговорить бы надо с твоим парнишкой…

– А это… Как его… Он ушел.

– Не теперь. Сначала бы. Вон там, на той стороне холма он кличет ее.

Подняв лопаты, пешни и топоры, люди разом двинулись на вершину – и сразу остановились. Ханидо ничком лежал недалеко на ровном месте и громко причитал:

– Дура ты, дура. Чего не вылезаешь? Не будешь есть – умрешь. Халер – ха – а-а… Энэ[62] кушать зовет!

Все бросились вниз, тут же оттащили парнишку и, не раздумывая, стали копать. Теперь уже никого не удивляло, что Ханидо кричал в узкую норку: голова пролезет, значит, и плечи пролезут, а дальше может быть яма – лежбище.

Хуларха и Нявал вспомнили, что и три дня назад Ханидо показывал это же неприметное место. Они стали швырять лопатами землю, стараясь как можно быстрей расширить нору. Другие работали рядом.

Но люди напрасно отдавали последние силы. Углубившись, они видели то же самое – сплошь дырявую землю. Стали кричать, звать Халерху. Ничего не услышав в ответ, снова взялись за лопаты. А тем временем быстро смеркалось: тучи, едва показавшие в своих трещинах зарево, как – то сразу соединились, и скат холма почернел, почернела под лопатами и бурая глина. То ли радуясь тьме, то ли озлобившись, то ли на ветру лучше почуяв запах пота, комары набросились на людей, как бешеные собаки.

---

[62] Энэ – мама.

Весь холм раскидать не было сил. И потащились улурочи по своим тордохам с дрожащими, напрасно натруженными руками и с опустошенными от неудачи душами.

Дурное настроение, однако, быстро и неожиданно попятилось от людей. Ветер донес от стойбищ грохот бубна. Звуки были сильными, бодрыми и все уже издали догадались, что камланит Сайрэ. Кому он камланит, откуда пришли к нему силы, что он хочет узнать и сделать – все это было загадкой, но все это было не так уж и важно. Сайрэ ожил и камланил – значит, произошла какая – то перемена. Люди стойбища сильно устали за эти дни, и для них уже было радостью то, что жизнь вроде бы возвращается в свою протоку. Пусть в стойбище будет одна помешанная, пусть не найдется ребенок – с этим придется смириться, и люди смирятся, но жить без бубна, в тревоге, так, как прошли эти дни, невыносимо.

А в стойбище ничего не случилось. Халерха не пришла, Пайпэткэ сидела возле чужого тордоха и впотьмах что – то чертила на земле пальцем. И все – таки хорошо, что Сайрэ застучал в бубен…

Тучи сплошной ровдугой неслись по небу до самой зари. Сквозь них не проглянуло ни единой звезды, но они и не уронили ни капли дождя. К восходу солнца уже не тучи, а облака быстро плыли по холодному синему небу… Детвора спала в этот раз крепко и долго. А когда высыпала из тордохов, радостные голоса будто согрели холодный день: земля просохла, солнце то исчезало, то появлялось, меняя окраску тундры и умиротворенного озера. Первым делом ребятня бросилась к своему холму – надо же было им поглядеть, что там вчера понаделали взрослые. Все собрались, конечно, у самой большой ямы – и пятилетние и пятнадцатилетние. Не было среди них одного Ханидо: он слишком много лазил по узким норкам, и теперь у него болели кости.

Все, как есть, оглядели детишки и направились было ко второй яме, как вдруг кинулись вниз. Нет, они не побежали, а бросились сломя голову – все сразу, с дикими криками; те, кто побольше, мгновенно оказались внизу, меньшие падали, визжали, ползли, катились беспомощно – кувырком.

Из тордохов повыскакивали матери и отцы, а потом и все остальные.

– Там, там!.. – боясь оглянуться назад, бестолково кричали бежавшие. Даже не останавливаясь возле взрослых, они понеслись дальше, к своим тордохам.

Со свирепым визгом и лаем выскочили и бросились через луг собаки. Словно дробь из ружья, они полетели прямо к холму, оставив далеко позади мужчин, бежавших узнать, в чем дело. Но тут произошло непонятное. Детей кто – то преследовал. Мужчины остановились, замешкались, не веря своим глазам. Самых маленьких уже догоняло какое – то чудище. На голове у него что – то торчало в разные стороны, руки с растаращенными пальцами были разведены и готовы вот – вот схватить отставшую девочку, лицо и все тело покрывали желтые клочья шерсти. Пока мужчины топтались на месте, в стойбище поднялась настоящая паника. Крестившиеся изо всех сил старухи и старики, услышав крики «Дух!», «Мельгайвач!», «Пропали!» – начали прятаться. Чтобы их не увидел дух, они упали на колени – и на четвереньках, ползком скрылись в тордохах. Визг, крики, непонятное бормотание неслись по стойбищу. И никто не знает, чем бы все это кончилось, если бы не собаки, которые, как оказалось, безошибочно отличают духа от человека. Правда, тут еще так получилось, что страшное существо споткнулось и упало самым беспомощным образом. И вот собаки, с яростью налетев со всех сторон, не стали разрывать на части упавшего духа. Напротив, они ласково завизжали, завиляли хвостами и сразу же разбрелись по холму…

Халерху несли на руках. Была ли она бледной, была ли поцарапанной, этого никто бы не смог определить, потому что все лицо ее покрывала засохшая глина. Глиной были напрочь забиты уши, глаза – песком, волосы слиплись клочьями, одежду ни за что не узнала бы шившая

ее Пайпэткэ, будь она трижды нормальной. Не плакала Халерха, а урчала, как беспомощный новорожденный теленок.

Мать Чирэмэде пришла в себя лишь после того, как женщины отмыли ее дочь, одели во все чистое и дали поесть.

Ни о чем девочку не расспрашивали – точно ничего не было, а если и было, то лишь во сне.

Тут в тордохе и появился Сайрэ. Он вошел тихо, кивнул Чирэмэде и Хулархе, осторожно сел в сторонке и, закрыв глаз, точно задремав, начал негромко, медленно постукивать в бубен. Он не обращал внимания на толпившихся людей и ничего не ответил, даже не открыл глаза, когда Чирэмэде сказала:

– До смерти буду благодарить тебя, хайче Сайрэ. Один ты мог показать ей дорогу из нижнего мира…

Под мерный звук бубна Халерха и заснула.

А к вечеру вешало Сайрэ отяжелело, прогнулось от жирных юкол.

ГЛАВА 7

Остаток лета шаман Сайрэ прожил тихо и незаметно. Людям все больше казалось, что он на глазах стареет, и поговаривали о том, что, видно, так и сойдет на нет его земная жизнь. Рассуждали просто: Сайрэ всего один раз ошибся, обошелся слишком жестоко с Мельгайвачом, и кто – то – бог ли, бродячий ли дух – наказал его, отняв жену и заставив мучиться с больной, ни к чему не способной женщиной. Ошибались люди, Сайрэ в действительности напряженно думал о будущей земной и о загробной жизни, он выжидал, искал выхода из ловушки. Выход у него был. Только его плотно закрывала сумасшедшая Пайпэткэ.

Искать – то он искал, но, сам того не замечая, свыкался с бедой, вживался в нее.

Ухаживая за дурочкой, старик часто видел ее красивое, набухшее в напрасном ожидании материнства тело и, зная свою вину, тяжко вздыхал. Хлопоты приносили ему облегчение: иногда он ловил себя на мысли, что его заботы, его отцовское внимание могут со временем переломить болезнь, и тогда он воспрянет духом, иногда он примечал, что заботы эти рождают уважение к нему со стороны людей, но чаще всего он старался просто так, из необходимости что – то делать. Как бы то ни было, но жизнь не стала пустой, и она создавала привычки. Придут, бывало, к Сайрэ старики, рассядутся; Пайпэткэ начнет показывать им человечка, когда – то сделанного из прутиков, начнет хвалить его, как живого, – а Сайрэ и не подумает выпроводить ее – напротив, возьмет из ее рук человечка, станет тоже нахваливать его, водить по кругу, ласкать. И даже не кивнет сожалеючи своим старым друзьям.

Время, однако, приближалось к покрову, а никаких перемен даже и не предвиделось. И вот однажды вдруг пришла ему в голову решительная мысль. А что, если пойти к Тачане и сказать ей, что старику, мол, не способно одевать – раздевать больную женщину, мыть ее и делать все прочее непотребное для мужчины? Разве не вправе он заговорить об этом? Каждый его поймет и не осудит… Он хорошо обдумал эту мысль и было уже направился к Тачане. Но только отошел от тордоха, оглянулся назад – и другая, беспощадная мысль полоснула его: «Взял молоденькую, красивую – тогда она нужна была, а возвращаешь дурочку?..» И он повернул назад.

А через несколько дней ноги зачем – то увели его далеко за стойбище. Стояли сухие морозные дни, он вышел просто подышать, размяться, но попал на первопуток – и дорога потянула его в тундру. Опомнившись и испугавшись неведомой силы, увлекшей его так далеко, он заковылял обратно. Увидев первый тордох, Сайрэ почувствовал слабость в ногах и решил зайти передохнуть.

То, что он услышал и увидел в этом чужом тордохе, изменило все его мысли. Возле горящего очага рядом с хозяйкой сидела Пайпэткэ. Обнажив обе груди, она тыкала в сосок сверток пыжиковых шкур, в которых, кажется, было что – то твердое. Сайрэ увидел кровь, стекавшую с соска в шкурки, – и выхватил сверток. Не замечавшая крови хозяйка только теперь встрепенулась, одернула Пайпэткэ одежду. Взяв жену за руку, старик повел ее в свой тордох, но успел услышать от хозяйки новость, которую ни от кого не слышал. Пайпэткэ, оказывается, шла к Мельгайвачу – показать ему «сына».

По дороге домой Сайрэ жгла одна – единственная мысль: теперь все пропало. Он догадался, что Пайпэткэ заходила не только в этот тордох. Значит, уже сегодня все стойбище вспомнит о ее прошлой связи с Мельгайвачом, потом вспомнит о нем, потом – о крови Мельгайвача…

Рано утром следующего дня шаман Сайрэ появился у Пурамы.

– Я слышал, ты в Халарчу собираешься ехать, – сказал он, садясь и набивая трубку.

– Собираюсь. А что? – Пурама осматривал сбрую и никак не выказывал внимания к гостю.

– Просьба у меня есть одна.

– Какая?

– К тебе просьба зайти к Мельгайвачу, а к Мельгайвачу просьба заехать ко мне.

– Дело, вижу, не спешное. Другие днями поедут. А у меня скорые охотничьи дела: туда – и сразу обратно.

Сайрэ вздохнул и, прикуривая, неразборчиво – жалобно проговорил:

– Моложе… всем нужен… Стар, слаб – хоть в тундру… помирать…

– Грызетесь вы. А я тут ни при чем. – Пурама зубами затянул узел на сыромятном ремне и встал. – Пособником быть не хочу.

– Какая уж тут грызня… – униженно проговорил Сайрэ. – За себя бы и не просил, обошелся бы. За Пайпэткэ прошу.

– Гы! Мельгайвач – то не шаман. И духом он своим не владеет. Это все знают. Какой же от него прок великому шаману, что же он может сделать, если великий шаман ничего не может?

Сайрэ стал пыхтеть, раскуривая трубку, и Пурама понял, что он обдумывает ответ.

– Ты, Пурама, шаманский язык понимаешь. А в шаманских делах – совсем ничего.

– И в делах понимать стал. Девчонку Халерху кто нашел, кто вызволил? Парнишка Нявала нашел, мы разрыли ей выход. А благодарность шаману. Что скажешь на это, хайче?

– А ничего. Только спрошу. Почему это так: вы целый день всем стойбищем кликали, а она не слышала?

– Глиной уши были забиты!

– Ага, значит, не слышала? А меня услышала… Пурама, Пайпэткэ спасти могут только двое – ты и Мельгайвач. Никто, кроме тебя, не уговорит чукчу приехать ко мне. Ты его победил, честно победил, и у него уважение к тебе есть. Другого он слушать не будет. Я все слова скажу ему при тебе, при людях. Как я могу внушать плохое, если помощи от него жду? Не поможет – пусть едет с богом… Вчера Пайпэткэ груди до крови расцарапала. Смешает кровь с шерстью – умрет… Позови его, Пурама…

Сайрэ просил жалобно, в словах его не было иного, шаманского смысла. Но Пурама все – таки чуял что – то неладное и, подумав, спросил:

– Я узнать не могу, что задумал ты. Но что такое случилось? Почему ты вдруг захотел вылечить Пайпэткэ? Раньше почему не хотел?

– Ох, Пурама… Нелегко придумать, что делать, совсем трудно понять, как нужно делать. Спроси Куриля – чего это он не пять лет назад решил божий дом строить? А спроси его, как будет строить, – он и теперь не знает. Поезжай, Пурама. Зачем мне зло замышлять? Подумай в дороге – зачем?

И Пурама согласился.

Он уехал после полудня. Его нарта первой шла в эту зиму до Халарчи. А в первой поездке всегда думается легко и свободно. Куда трудней было Сайрэ, который остался ждать гостя. Сайрэ обманул Пураму. Никаких надежд на помощь пастуха чукчи у него вовсе и не было. Даже больше того – он твердо знал, что ни Мельгайвач, ни сам верхнеколымский старец – никто не вернет рассудок его жене. Мельгайвач ему нужен был совсем не для этого. Сайрэ хотел поговорить с ним при людях, хотел, чтобы чукча открыто сказал, что он сам, по своей воле взял в руки нож и что, стало быть, никакой мести не было. Важен был сам приезд Мельгайвача и разговор с ним, разговор, в котором Сайрэ уже, конечно бы, начисто оправдал себя… Нет ничего тяжелей последней надежды: приедет чукча – Сайрэ спасен, не приедет – ему останется выкинуть бубен в озеро. А еще надо подумать о том, как Мельгайвач станет лечить Пайпэткэ, какую задачу ему задать.

Обменяв старенькое ружье на другое, чуть поновей, дав за это много юколы в придачу, Пурама зашел в ярангу Мельгайвача. Это была все та же большая яранга, которая оказалась, однако, той же только снаружи. Дыхание холода – это еще не дыхание бедности. Но в жилье

бывшего богача шамана холод дышал даже не бедностью, а какой – то надвигающейся катастрофой. Все три жены хозяина взглянули на Пураму голодными, злыми волчицами. Младшая походила на старшую прежних времен, а старшая – на старуху. Сам Мельгайвач сидел на небольшой кучке шкур и раздумчиво заплетал косу. Может, он решил обменять шкуры на что – то другое, да увидел горький конец этой сделки, может, Кака велел ему заплатить ясак, а может, думал о том, что управлять бедностью куда сложней, чем богатством…

Сразу почувствовав хозяйскую неприветливость и бесполезность своего появления, Пурама смущенно поздоровался. Рассчитывать на угощение и на долгие разговоры было напрасным делом, и он без всяких околичных заходов сказал:

– Я с посланием от сильно постаревшего и не совсем счастливого в жизни шамана Сайрэ… Он желает семье достойного чукчи, доброго пастуха здоровья и многих лет жизни.

– Что ему от меня нужно? – откинул Мельгайвач косу за спину. Он повернулся – и Пурама едва не попятился назад, испугавшись, что обознался. Не так давно, во время гонок, лицо чукчи было худым и бледным; теперь оно пожелтело и сделалось дряблым, как дурная, испорченная ягодка морошки. – Никаких посланий я от Сайрэ получать не хочу! И ты мог бы не заходить. Ему не хватило моей крови – он еще духов напустил на моего гонщика и отнял последний табун. Теперь хочет нищим сделать меня? Я помню, он говорил, что я должен оставить одну жену и жить в дырявой яранге. Может, за этим приехал ты?

– Подожди, Мельгайвач. Зачем так много слов говоришь, если еще меня не послушал. Ему ты вовсе не нужен. Ты нужен его жене. Пайпэткэ на середине лета с ума сошла, а теперь ей совсем плохо, умереть может. Сайрэ говорит, что один ты способен спасти ее…

– А какое мне дело до его жены? Сошла с ума – и пусть. Пусть поживет с дурой и знает, что бог все видит и поделом наказывает!

– Ты говоришь как богач! – сказал Пурама. – Но ты не богач. А у бедных совсем другие обычаи. Если бедный бедному не поможет, кто же поможет ему? Пайпэткэ на моих глазах выросла. Я сам видел, как мачеха Тачана приказывала мужу вить про запас плетки из тальника, чтобы лупить ее без передышки. А такие, как Потонча, как ты, поиграли с ней и выкинули на муки к косому и сопливому старику…

Услышав такую речь, знавшие вспыльчивого Пураму жены Мельгайвача одна за другой попрятались под полога.

– Ну что ж… Ну, было когда – то… – замешкался Мельгайвач. – В молодости чего не бывает… Как у каргина осенью, кровь играла…

– Ты был тогда не так уж и молод! – поправил его Пурама. – И кровь от горькой воды играла… Давно ли теперь ты пил горькую воду и много ли пил?

– Я, Пурама, все понимаю. Не думай… А как же я могу ее вылечить? Это даже смешно: боголюб и великий шаман просит помощи у безбожника – пастуха! Кто во всех тундрах слышал такое?

– Я не знаю, как можешь ты вылечить. Это знает Сайрэ. Мне он сказал, что надежда на тебя одного. – Пурама помолчал. – А сам я могу прибавить – это я знаю лучше тебя: смотри, Мельгайвач! У тебя десять оленей на четверых, это немного; выскочил из богатых, выскочишь и в безоленные – если к чужому несчастью будешь глухим… А теперь я поеду. Вижу, что ты сейчас ничего не ответишь.

– Нет, почему же мне не помочь? – засуетился хозяин, догоняя гостя. – Но сразу я не могу – у меня дела. А потом можно бы и поехать…

– Ну, вот и добро, вот и приезжай. Хуже себе не сделаешь, а душу очистишь.

Пурама откинул дверь и, не оглядываясь, широко и независимо зашагал по снегу, под которым еще чувствовалась земля. Настроение у него было очень хорошим, и он знал, почему ему так хорошо. Он исполнил долг, и теперь никто уже не скажет, что из – за недоверия к шаману Пурама отказался помочь больной юкагирке. Но больше всего был он доволен тем,

что увидел ярангу Мельгайвача, которую словно весенним ветром продуло, – эту ненавистную ярангу со всеми пирами в ней и с паскудной возней за красивыми пологами… Злая удовлетворенная радость так и обдавала его сердце теплом. «Если б Сайрэ не безобразничал сам – я за одно это служил ему бы до конца жизни, – рассуждал он про себя, зная, однако, что сейчас же злорадная мысль перекинется и на Сайрэ. – Но и старик тоже попался теперь: ждет мирной беседы с Мельгайвачом, при народе говорить с ним собрался, а чукча распотрошит его, как рыбу, у которой лопнул желчный пузырь… Стой! – вдруг замедлил он шаг, – а может, Сайрэ и не думал лечить Пайпэткэ, может, ему самому Мельгайвач нужен? Да это, наверное, так и есть… А, черт с ними – пусть погрызутся: все равно почти съели друг друга». – Он подошел к нарте, вынул из – под шкуры ружье, в раздражении пощелкал курком, схватил вожжи, сел и прокричал оленям:

– Ок! Ок! Ык!

Опомнился Мельгайвач сразу, как только нарта посланца Сайрэ скрылась за бровкой увала. Он чуть не стукнул себя по лбу, вдруг увидев совсем иной смысл в этом неожиданном и решительном вызове. «А если я действительно вылечу Пайпэткэ? Если я вылечу? Если я способен на это? Кем же я буду тогда? Опять пастухом? – Мысли его потекли, как слюна перед жирной едой. – Но разве простой человек может вылечить, да еще от такой болезни!..»

Мельгайвач вернулся в ярангу совсем другим человеком. Он сел на те же шкуры, снова поймал за спиной косу, но недавние тяжелые мысли уже не возвращались к нему, и руки начали заново, быстро и ловко переплетать косу: «Юкагирский шаман что – то почуял. Просто так он не делает ничего…»

– Женщины! – громко сказал Мельгайвач. – Я уезжаю. Слышите – я уезжаю. И, наверно, надолго. Ничего без меня не обменивайте. Пусть приходит Кака. И пусть оленину приносит. Не от себя отрывать будет: половина его оленей – это наши олени…

Уехал Мельгайвач в этот же день. Но направился он не в Улуро, а на Среднюю Колыму. Зная повадки Сайрэ, с которым наедине встречаться опасно, и желая показать себя чересчур озабоченным, что было выгодно при любом повороте дела, он решил появиться на Малом Улуро не один, а вдвоем с Токио.

От полнолуния до полнолуния был он в дороге. Токио согласился ехать не сразу. У него нашлась великая масса причин остаться дома, но все вместе они заставили Мельгайвача сказать напрямую: «Ты, догор, как вижу я, совсем не веришь Сайрэ. Может, и мне не ехать?» На что Токио ответил хитро и умно: «Все могу бросить ради тебя, догор. Но ведь Сайрэ звал только тебя! А если таинство он затеял? Я могу помешать…» – «Но ведь ты никогда не враждовал с его духами!» – возразил Мельгайвач. «Зато я враждовал с твоими, – сказал Митрэй. – И может, дело – то как раз в твоем бродячем духе…»

Все было правильно в рассуждениях Токио, однако упоминание о бродячем духе – о давнишней надежде Мельгайвача, затмило все доводы, и Мельгайвач уговорил шамана поехать. А в дороге он уговорил его и покамланить, если в этом появится хоть маленькая нужда.

Ехал Токио себе на уме. Он не верил в успех и давно уже знал, что Сайрэ лишь обводит чукчу вокруг одного и того же оленьего рога. Сказать об этом он не решался. Потому что о задумке Сайрэ вылечить сумасшедшую теперь непременно знали многие люди, и если бы он разуверил чукчу, а стало быть, и испортил дело, то всю вину юкагиры и юкагирский шаман свалили бы на него. А это бы означало что Токио заступил дорогу Сайрэ, взялся с ним враждовать – и потянулась бы путаница злобных нападок и обвинений. Ну, а Токио все это было совсем ни к чему. Лучше он померзнет в дороге и поглядит со стороны, как вылечивают сумасшедших – при помощи человека, не обладающего шаманской силой.

Слух о том, что в стойбище едут Мельгайвач и известный шаман Токио, долетел гораздо раньше, чем оба они появились из потемок у окраинного тордоха. Старик Сайрэ за это время

нахлопотался вдоволь. Надо было и угощение приготовить, и топливо, постели, в тордохе тоже надо было прибраться – Пайпэткэ – то ничего решительно не кладет на место, а берет все подряд. Но главное – надо было все заново передумывать. Неожиданный ход Мельгайвача привел старика в смятение. Допрос чукчи и объяснение перед народом теперь утопали в людской жажде увидеть чудо. А к сотворению чуда Сайрэ по – настоящему не готовился. То, что придумал он до слухов о приезде шамана Токио, теперь не подходило никак. Токио слишком трезво обо всем судит, язык у него ни к чему не привязан – вроде лишней собаки, что бежит рядом с упряжкой. Возьмет и всю затею с Пайпэткэ вывернет, как рукавицу, – а сам уйдет кататься на санках с девчатами, да еще скажет, что от греха уходит. Как заставить безумную сказать хоть одно умное слово, как вернуть ей рассудок совсем ненадолго?.. Ничего Сайрэ так и не смог придумать, решительно ничего. Но он и не упал духом. Разве он кому – нибудь говорил, что сам вылечит Пайпэткэ? Он только узнал путь к выздоровлению, а все остальное, значит, зависит от Мельгайвача – сумеет Мельгайвач или не сумеет, захочет или не захочет. Он как шаман, конечно, будет изо всех сил стараться ему помочь. И Токио пусть помогает…

Когда в тордох с шумом вошла Тачана и, сообщив, что оба шамана вот – вот приедут, уселась на самом удобном месте, Сайрэ подумал: «Хорошо, что Токио с ним. Важный свидетель. И это лучше, что сойдутся два таких сильных шамана, как я и он»… И тут же Сайрэ сказал Тачане:

– Мать, не знаю, зачем ты пришла, не знаю, чего ждешь и чего хочешь. Но ты шаманка сама – и должна понимать, что всякое может быть…

– Уже поняла. Давно разговора такого жду. – Маленькая, уродливая Тачана заерзала, будто продавливая в земле лунку, чтобы покрепче сидеть. – Хочешь сказать, что если к ней ум не вернется, то ты ее приведешь обратно ко мне? Не возьму, не возьму. И не жди – не возьму.

– Да ты подумай, почему об этом прошу. Хоть старый я, но все же мужик. А ей баба нужна. Срам возиться с ней мужику. Люди – то как глядят на меня?

– Отчего это срам? Вон мужики завсегда телят от важенок принимают. Дело какое! А она хуже важенки… Видишь – что ни говори про нее, а она сидит себе и поет…

Разговор оборвался, потому что в тордох вошел Пурама, а за ним еще и еще люди.

Пока здоровались и рассаживались, пока разжигали очаг, упряжка как раз и подоспела ко времени.

Сайрэ встал, чтобы выйти встречать гостей, но якутский шаман опередил его – весь заиндевелый, он вломился в тордох, как медведь.

– Привет вам, братья и сестры! Скорей дайте руки и язык отогреть. – Токио махнул рукой и скинул на пол варежку, махнул другой и скинул другую. Он снял вместе с сускаралом чайник, пощупал его и стал пить из носочка. – Это кипяток? – спросил он, напившись. – Так промерз, что не понял. Мы в дороге два раза оленей поили чаем. А то сидели бы сейчас в тундре и строганину из них делали…

– Да, да, нынче морозы страшные, – поддакнули люди, следившие за каждым словом и каждым движением загадочного шамана, приехавшего тоже с загадочной целью.

Токио смекнул, что шутки его не доходят, и рассказал о том, что живет он хорошо и что недавно женился на второй жене. И только теперь люди почувствовали его доброе настроение. Токио действительно поправился, раздался в плечах и животе, возмужал. Это доброе его настроение обрадовало даже Пураму, который, словно из засады, зорко следил за всем происходящим: может, и впрямь есть какая – то надежда вылечить сумасшедшую да забыть наконец беды?

Но тут взгляд Токио вдруг задержался на Пайпэткэ, которая сидела вместе со всеми и непрерывно что – то выделывала пальцами в воздухе. Язык шамана перестал двигаться, а брови нахмурились. Он увидел ее, как только вошел, но не выдавал себя. «Плохи дела, – решил нако-

нец он. – Хуже, чем думал. Оторвалась от людей умом. Дня два или три придется камланить – а толку не будет…»

Перемену в шамане заметили все и приуныли, начали безнадежно вздыхать, с жалостью поглядывая на Пайпэткэ.

Шамкая ртом и угодливо приплясывая, Сайрэ пропустил в дверь Мельгайвача, распрягшего наконец оленей. Дрожащей рукой он указал ему на доску, где стояли миски с юколой, парными оленьими потрохами и плоская бутылка с зеленой горькой водой.

– Снимай шапку. Может, разуться надо… От людей тепло, костер сильней распалим.

– Малаак! – вдруг на весь тордох крикнула вскакивая Пайпэткэ. Черные маленькие глаза ее горели таким красивым огнем, что люди замерли с открытыми ртами, будто среди зимы увидев яркое солнце. – Приехал… Мельгайвач мой приехал! – она перешагнула через чьи – то колени, но тут на нее сзади бросилась Тачана. Руки шаманки крепко опоясали Пайпэткэ, которая сразу же рванулась вперед, волоча за собой маленькую старуху. – Уйди! Сатана! Все вы уйдите! Чего вы пришли? – Она изо всех сил разнимала костлявые руки, но люди с разных сторон уже схватили ее, согнули и усадили на землю.

Красное от мороза лицо Мельгайвача сделалось белым, как иней, сплошь покрывавший кукашку и шапку. Руки его сами собой стряхивали изморозь с шаровар, но ничего не понимающие глаза остановились – будто оледенели. Мельгайвач не видел Пайпэткэ сумасшедшей и сейчас не знал, что думать: или это и есть приступ бешенства – иначе зачем же ее так хватать и удерживать, или к ней возвратился рассудок, да люди не могут понять.

А по щекам Пайпэткэ катились слезы. Нет, лицо ее сияло по – прежнему, глаза так же горели радостью, но слезы падали – наверное, от бессилия, от нестерпимой обиды на победивших ее людей.

– Ну что же ты стоишь, Мельгайвач! Ну растолкай их, прогони от меня! Иди сюда. Я ждала тебя, все время ждала. Иди, понюхай мне щеку… Что они держат меня! Иди… Не понимает… – У Пайпэткэ сильней покатились слезы, и, уже плача, она продолжала: – Подойди хоть поближе, посиди рядом. В глаза погляди и щеку понюхай, а я уйду, я засну, я не буду мешать…

Слушая сумасшедшую, которая, кажется, помешалась на нем и потому признает только его одного, Мельгайвач постепенно пришел в себя. Он отряхнул плечи, скинул шапку и шагнул к очагу, чтобы сесть рядом с Токио и Сайрэ. В этот момент Пайпэткэ встрепенулась и вырвалась из рук державших ее людей. Она обхватила чукчу – и оба они сели на пол.

– …Приехал, мой милый, мой хороший, мой умный! – шептала Пайпэткэ, глядя прямо в глаза Мельгайвачу. Она принялась нюхать его нос и лоб. – Мой плаксивый, мой робкий, мой невинный – приехал… Вот твой нос, вот твой лоб – как я по ним соскучилась! – Она стала водить пальцем по его лицу. – А это твои глаза, щеки, уши… Почему ты такой невеселый? Ну погладь меня, не смотри в сторону – в глаза посмотри, а я посижу и уйду. Я сразу засну, я плохо сплю…

Мельгайвач наверняка оттолкнул бы от себя сумасшедшую и, может быть, ушел из тордоха, если бы не видел вокруг себя людей, потрясенных случившимся. У шамана Сайрэ как – то провисла нижняя челюсть, а его зрячий глаз стал часто – часто моргать; Токио весь сиял от восхищения – как ребенок, которому подарили бубен с блестящими колокольчиками; быстрые и зоркие глаза Пурамы перескакивали с одного лица на другое – он словно растерялся перед стаей диковинных птиц, не зная, в какую из них стрелять; уродливая длиннолицая шаманка Тачана кланялась, как лошадь, и быстро ворочала языком, точно стремясь раскусить хрящик, – она бубнила ей одной понятные заклинания; две старухи сидящие рядом, крестили животы – они боялись поднимать руки выше, чтобы не заслонить хоть на миг происходящего.

– Иди, Пайпэткэ, иди, – ласково сказал Мельгайвач. – Помогите ей, люди, лечь – она отдохнет. Ты ведь спать хочешь? В тордохе тепло, я буду здесь; ты ляг и засни.

Пайпэткэ послушно разомкнула руки и, вдруг обхватив ими свою голову, медленно начала пробираться меж людей.

Ее положили на три мягких шкуры и укрыли, как положено по обычаю, совсем вылинявшим одеялом – одеялом старой покойной жены шамана Сайрэ.

В тордохе повисла мертвая тишина. Был слышен лишь лай собак, нападавших на чукотских оленей, да стук по жердям ровдуги, которую начал трепать поднявшийся ветер.

– Что будем делать дальше, хайче? – резко повернувшись к Сайрэ, спросил Мельгайвач.

– Не знаю, – робко ответил старик. – Пусть скажет Митрэй.

– Думаю, ничего делать больше не надо. – Токио потянулся к бутылке с водкой, но почему – то раздумал и спрятал руку. – Мельгайвач все уже сделал. Не знаю, зачем он меня тащил за собой. Уверен, завтра Пайпэткэ станет еще лучше. Я камланить не буду.

Сайрэ заерзал. Зрячий глаз его перестал моргать, а кривой совсем сощурился; выпученным глазом старик, однако, прицелился не в чукчу, а в Токио.

– Догор, Митрэй, – вкрадчиво сказал он. – Ты что – то непонятное всем нам говоришь. И я и люди из многих тундр слышали другие слова… Помнишь – на большом камлании все шаманы вроде бы признали, что Мельгайвач зла юкагирам не делал. Потому как не владел духами. Да он и сам приезжал ко мне и обещал полстада оленей за вдохновение. Разве я вру, Мельгайвач? Вру? Скажи людям…

– Да, приезжал, говорил, обещал, – пробурчал Мельгайвач, не зная, куда спрятать глаза, но уже понимая, что сделал ошибку.

– Люди, вы слышали? – повертел головой Сайрэ. – Так не хочешь ли ты, Митрэй, сказать, что Мельгайвач потом завладел бродячим духом, напустил его на мою жену и испортил ее? Могло, могло это быть. И я думал об этом. Но видно, стар стал – не разглядел.

– Не было так! – почти крикнул чукча.

Тишина в тордохе стала еще глубже. Люди не шевелились. Шаман Сайрэ как будто одерживал верх, и могло показаться, что он сейчас скажет еще что – то более грозное. Однако старик как – то сразу погас, и даже плечи его опустились. Получалось так, что они подозревают друг друга в кровавой мести.

– Ну тогда, значит, говорить нужно спокойно, – тихо сказал Сайрэ. – Мы вместе вылечили ее. А ты, Мельгайвач, не шаман и никогда им не будешь. Сам знаешь это.

– Ты зачем меня вызвал, Сайрэ? – спросил так же тихо, но злобно чукча. – Чтобы перед людьми срамить?

– Нет! Как же ты можешь об этом думать? Юкагиры тебя никогда не забудут за этот приезд. Ты столько потратил дней, сильно мерз и даже к Токио ездил. Ты хорошо помог мне. Спасибо, что откликнулся на мой призыв.

– Юкагиров Мельгайвач тоже надолго запомнит, – сказал Пурама, понявший, что склока вот – вот затихнет. Чудо поразило Пураму, но слава, которую так быстро и просто заграбастал Сайрэ, вызвала у него протест. Не знал он, однако, что старик шаман больше всего ждал именно этого разговора.

– Пурама рычит на меня, давно рычит. Я хоть с одним глазом, а все, все вижу… Он на меня злится за то, что перед гонками я камланил не ему, а Мельгайвачу. Это верно – камланил. И хотел, чтоб победил Мельгайвач. Куриль проиграл бы – не обеднел, а вот он последнее отдавал. Мельгайвач и так наказал себя – чуть не умер…

– Ну тогда, Сайрэ, ты должен сказать, как все между вами было. – Пурама поднялся, протиснулся между сидящими и сел прямо напротив шамана. – Вот мы и будем все знать, и кончатся всякие разговоры. Народ считает, что ты, хайче, поступил слишком жестоко.

– Вот я, вот он, – с готовностью ткнул нераскуренной трубкой себе в грудь, а потом в грудь Мельгайвачу Сайрэ. – Я не внушал! Я отговаривал даже. Бог это слышал! – Сайрэ быстро перекрестился.

– Если б ты хотел отговорить, то не рассказал бы, как это все делается, – заметил чукча. – Зачем грех брал на душу?

– Э-э, ты просил. Ты долго просил! А ну – ка вспомни, какими словами просил… Ладно, я повторять не буду. Но ведь ты и сделал вовсе не так, как надо. Я сказал, что наши предки чуть надрезали живот, чтобы кровью руки и щеки помыть. А ты пырнул себя до кишок. Тебе подсунули шкуру, чтобы разрез заткнуть, – Кака подсунул. Замешал шерстью кровь, – она и сгнила. Конечно, сгниет!

Шаман Сайрэ все сказал. Он вставил в рот трубку и потянулся за огоньком к очагу. Руки его дрожали, а глаза улыбались – зрячий улыбался чуть – чуть, а кривой вовсю, образовав на виске елочку складок.

Тишина выпорхнула из тордоха. Люди затараторили, зашушукались.

Взяв бутылку, Мельгайвач молча и не спеша налил в три костяные чашки горькой воды.

Но выпить за свою беспомощность ему не пришлось.

Слава Токио прочно держалась на двух ногах. Одной была тайна силы внушения, которую он унаследовал от отца, другой – невероятное легкомыслие и беспощадная, вроде бы детская, прямота, заставлявшая чесать затылок не одного мудреца.

Потянувшись за кружкой, он вздохнул и сказал:

– Говорили, говорили… Слов набросали целую кучу. А правда потерялась, как иголка в сугробе.

– Ты выпей, догор, выпей, – Сайрэ пододвинул гостю юколу. – И закуси. А когда выпьешь, то и правду будет легче искать.

Старик мог теперь говорить что угодно: каждый новый след в тундре будет и следом его ума, его силы и славы. Шаманить Токио не захотел; он тоже не станет брать в руки бубен. А любая другая правда, узнанная без камлания, – это сплетня, шутка, мирской разговор. Когда Пайпэткэ заговорила, в первый раз узнав человека, Сайрэ еле скрыл от людей потрясение. Но это длилось недолго – немного спустя он уже удивлялся силе, все – таки существующей в нем. Надо же было его языку сказать Пураме, что один Мельгайвач может вылечить сумасшедшую! Если бы еще, хоть на старости лет, научиться спрямлять этой силе путь… Сейчас Сайрэ не боялся якута – шаманчика, но все – таки не хотел, чтобы он взялся искать правду: шаманы при людях хоть и не подводят друг друга, но от Токио всего можно ждать.

А Токио между тем молчал. Он улыбался – улыбался этак невинно, по – детски. Сайрэ улыбался тоже. Они смотрели друг другу в глаза, улыбались, молчали. Но слова о ненайденной правде были сказаны, и люди перестали судачить, насторожились. Держа кружку между колен, Мельгайвач ждал, пока они наглядятся друг на друга; не дождавшись, он опустил голову и стал смотреть в зеленый омуток горькой воды.

Негромкий, но неожиданный в тишине крик заставил его вздрогнуть.

Между шаманами что – то произошло. Да, верно – произошло.

Токио медленно ставил невыпитую кружку на стол. Одновременно он круто поворачивался к старику, чтобы смотреть прямо ему в лицо, в оба глаза. А рука Сайрэ, которая так и не отцепилась от края тарелки, тянула юколу назад, и сам он весь подавался назад – будто Токио давил на него чем – то невидимым. Оба они улыбались, но это и было страшнее всего. Старик шаман только что торжествовал и самодовольно шутил, а теперь его узнать было нельзя – зрячий глаз сделался влажным, на дряблой шее сильно билась кровь в жиле; он не владел собой и потому не мог скрыть, что пытается улыбкой задобрить, разжалобить Токио. Молодой якут подминал старика, а может, и поедал его у всех на глазах.

Дальше могло случиться лишь что – то ужасное: Сайрэ вот – вот готов был замахать руками, закричать или броситься из тордоха. Однако Токио отвернулся от старика – может, пожалел его, может, удовлетворился тем, что все увидели его силу. Он весело оглядел людей – и воскликнул:

– Да любит она его, любит! Пайпэткэ Мельгайвача любит! Вот правда где.

Он переставил еще дальше от себя кружку с водкой и встал на колени, чтобы легче оглядываться.

– Ну что вы все онемели? – сказал Токио. – Тут дело простое, совсем простое – как палка без веток. И ни в нижнем мире, ни в верхнем надо было искать следы. Она на любви помешалась. Тебя она, Мельгайвач, любит. И нам надо думать, что делать дальше. Никакая шаманская сила тут ни при чем.

– Да что такое ты говоришь, Митька! – сразу опомнился Мельгайвач. Он слишком круто повернулся, разлил на штаны водку – и рывком поставил кружку на стол. – Как это любит?! Это бред сумасшедшей! Бред. Все видели, все слышали.

– А ты хотел, чтобы после такой болезни она сразу здоровой стала? Конечно, немного бред. Но это уже выздоровление. Ты завтра уедешь – она опять ум потеряет, а может, и бешеной станет – волосья рвать будет и на людей кидаться. А останешься, поживешь здесь – она совсем в себя придет.

– Ага. Останусь… Ты, наверно, забыл, что я не богач. И так столько дней потерял. Потонча ждать не будет. Может, ты вместе с Сайрэ согласишься кормить меня и моих жен?

– Э-э… Ы-ы… – подал голос Сайрэ. – А любовь надо под мышкой держать… – Старик еще не совсем пришел в себя и сказал невпопад – только затем, чтобы не казаться людям окончательно побежденным. Хотя, возможно, он и собирался что – то добавить. Однако Токио перебил его:

– Кто должен любовь под мышкой держать? Она не смогла. Ты на старости лет не сумел… И ребенок ей нужен – жить она хочет, как все!

Зрячий глаз старика сверкнул, как последняя искра в затухшем костре. Плечи его обвисли, спина стала сгибаться все круче и круче.

– Ну вот и нашли правду, – сказал Пурама. Он взял кружку, опрокинул ее в рот, обтер ладонью губы. – Это мне за труды…

– Я думаю, что людям расходиться пора, – сказал Токио, садясь и доставая кисет. – Мы уж тут все обтолкуем сами.

Сайрэ вздрогнул.

– Нет! – испуганно возразил он. – Зачем? Гостей прогонять не нужно. Пусть не уходят, пусть все слышат… Я, наверно, и вправду проглядел что – то. Может, все было не так. Из – за беды и хлопот потеряешь и правильный след. Чуял все верно, а попал, может, не на ту дорогу…

– Я об этом и говорю, – удовлетворенно согласился якут, – так и было оно. Мы, шаманы, иной раз правду по привычке ищем в потемках.

Токио смеялся над стариком, видя, что взял над ним верх. Все это поняли. Не понял, а может, не хотел понять один Пурама.

– Как ты сказал? – взъерошился он. – По привычке? Об этом интересно поговорить… Ты, Митрэй, значит, будешь приезжать к нам после каждого камлания Сайрэ и объяснять – настоящую правду узнал наш шаман или ненастоящую? А он будет ездить к тебе?.. Ты сказал, что старик заслонил от Пайпэткэ жизнь – а причину несчастья искал в потемках? Ну – ка, теперь скажи: бывает так, что поймают рыбу, а потом спрашивают, как она оказалась в ветке и почему умерла?

– Бывает! – в открытую засмеялся Токио, не щадя старика.

Ободренный поддержкой и немного захмелевший, Пурама разгорячился:

– Видишь, Токио, онидигил? Копоть и дым куда идут? Кверху, в дыру. Это бог так устроил: тепло и свет – людям, а вонь – наружу. Шаман же залезает в дыру – и копоть с дымом поворачивает на людей. Оттого мы и слепые… Я тоже был бы слепой, если б столько лет не прислуживал тебе, Сайрэ, и не видел всего, что другие не видят…

Сайрэ не сдержался.

– А что же ты видел такое? – выпрямился он. – Может, видел, с каким мучением я заставлял страдающих животом бегать – и вылечивал их? Может, видел, как я сутки не спал, а все равно пошел спасать выкидыша – и спас?.. Молод ты, Пурама, и негоже обо всем судить! Попробуй шаманить, залезь в онидигил. Нет, ты сейчас заберись на тордох и закрой лицом дымоход. Вот и узнаешь, каково шаману там, наверху. Людская копоть шаману первому глаза выедает…

– Это какой шаман, – подала голос старуха Лэмбу – киэ. – Бывают шаманы, у которых совесть прокоптилась, как рыба: у таких глаза не боятся дыма…

– Чего язык распускаешь! – взвилась Тачана. Цапнув костлявой рукой Пураму, она дернула его за рукав. – А тебе что от старика надо? Пайпэткэ тебе не дочь, не жена. Забыли, сколько добра всем сделал Сайрэ…

Пурама отдернул руку.

– А почему от людей копоть идет? – спросил он, пытаясь поймать взгляды всех троих сразу – и Мельгайвача, и Токио, и Сайрэ. – Люди сами копоть пускают? Торговал бы Потонча правильно – Хуларха не остался бы голодным, родную дочь не отдал бы людям, и беды не случилось бы. И тебе, Сайрэ, не пришлось бы камланить… и за камлание брать у Хулархи же последнюю рыбу. А с Пайпэткэ было как? Ведь негодяй, разбойник Эргэйуо – и тот, как человек, сватал ее. А купцы и шаманы? Ты, Мельгайвач, ты, Сайрэ, знали, что она беззащитная? Ну вот теперь и нюхайте эту копоть…

Пурама встал из – за стола – доски и начал протискиваться в глубь тордоха, давая понять, что говорить больше не о чем.

В тундре любое жилище остается жилищем, даже донельзя ветхое, дырявое, кособокое. Но в тундре немало жилищ, из которых хочется поскорее уйти или уехать. И тут бедность или убожество ни при чем. Тордох Сайрэ долго считался приветливым, хотя в нем царила страшная бедность, усиленная пожизненным шаманским обрядом. Казалось, что с приходом к хозяину молодой жены и появлением в углах ящиков и мешков тордох этот совсем оживет. Однако все было наоборот: подруги почему – то забыли о Пайпэткэ, детишки, ласково звавшие старика дедушкой, перестали к нему ходить, и друзья детства посещали теперь Сайрэ так, от нечего делать или из любопытства. То, что случилось сегодня в этом тордохе, что узнали люди из разговоров, заставило всех приуныть. Пурама обрубил разговор – и наступило тягостное, какое – то безысходное молчание. Над головами тревожным бубном стучала о жерди ровдуга – ветру как будто не терпелось сорвать ее, скомкать и унести далеко в тундру, а мороз уже запорошил все внутри инеем – и ни дыханье людей, ни тепло костерка не могли растопить его. Словно бесстрастное причитание по покойнику звучало бормотание Тачаны, безнадежно призывавшей на помощь духов… Если б Сайрэ, несмотря ни на что вдруг решился взять в руки бубен – тордох, наверно, ожил бы и люди повеселели. Но великий шаман сидел, согнувшись крючком, и не собирался камланить. Он не хотел, не мог, не был в силе помочь самому себе – и потому казался уже не шаманом, а мучеником своих же собственных дел, в которых переплелось и шаманское, и человеческое.

Молчание длилось долго. Токио сидел неподвижно, терпеливо выжидая, что скажет Сайрэ. После своих насмешек первым подать голос ему было нельзя. А Мельгайвач поглядывал то на кружку с водкой, то на согнутого Сайрэ. Никогда в жизни Мельгайвач ничего так не хотел, как хотел сейчас уехать отсюда. Пусть бы ушли люди – а они втроем молча выпили, закусили, и он с превеликой радостью бросился бы запрягать оленей. Плохо у него в яранге, но тут – как в могильной яме… Он думал так, однако хорошо понимал, что Токио и Пурама крепко привязали его к этой проклятой могиле: просто так не встанешь и не уедешь. Чем виноват он, что женщина помешалась на нем? Да, она была красивее любой из его жен, и счастье он с ней испытал такое, какого уже никогда больше не испытает. Но она жила с этим сопливым кривым стариком, а теперь у нее такая гадкая улыбка и такой мокрый отвратительный рот. Но если

уехать сейчас, то обидишь весь юкагирский род и уже никогда в жизни здесь не появишься. Да и свои чукчи будут глядеть искоса: скажут – отомстил врагу несчастьем невинной женщины – сироты…

И все – таки Мельгайвачу было не совсем плохо. Он со злорадством поглядывал на старика и думал: «Попался и ты, черт кривоногий. Теперь ты не раз вспомнишь, как травил меня целых десять снегов подряд!»

Не мог знать чукча, что старый шаман совсем не случайно оставил людей слушать горькую о себе правду. Сайрэ с трудом приходил в себя, потому что в нем кипела дикая злоба к Токио, затеявшему разговор, на который не решился бы ни один шаман. Однако ум его прояснялся все быстрей и быстрей, хотя этого он никак не выказывал. От якута Сайрэ ожидал всего – только не хитрой глупости, за которой по молодости не сумел скрыть неожиданного озлобления, а может, и желания покончить со славой юкагира – шамана… Обо всем этом и думал Сайрэ, пока не смекнул, что ум его затуманила злость и ревность к преуспевающему якуту. А ведь ход, сделанный Токио, можно было обернуть в свою пользу…

Не разгибая спины, а только чуть повернув голову к Токио, Сайрэ наконец тихо сказал:

– Да что же говорить тут, Митрэй, – немощный я и духом и телом. Молодое дыхание, оно молодого дыхания требует. Скучно ей было, конечно, в моем тордохе, ну, а со скуки – известно – можно и ум потерять.

– А ты, старик, обрадуй ее, – громко сказал красавец якут. – Ребеночка ей… Ты уж ради спасения постарайся…

Якуты и не такое говорят вслух, им прощается, и хоть женщины – юкагирки смутились и покраснели, в тордохе все – таки стало легче дышать.

Сайрэ остался серьезным.

– Ты – посторонний, тебе можно куражиться, – сказал он. – А мне не до этого. Нужно спасать ее. Надо сознание ей поддержать. Может, такого случая не представится больше…

Мельгайвач насторожился, опять поставил так и не выпитую кружку на стол.

– …Я тут не все правильно понимал, – продолжал Сайрэ. – А вот поговорили – и вижу теперь, что иной раз хочешь сделать добро, а получается зло. Мне жена разве была нужна? Люди ведь так решили. А я о душе ее заботился, уберечь хотел. И была она мне вроде дочки. Даже с помешанной мне легче жить: старый и одинокий я… А получилось, что от духов сберег, а вот о женской беде и не думал. Пурама насчет этого зря говорил – ей в то время все равно жениха не было. Не ловил я ее, как рыбу сетью, а если бы хотел внушить ей смирение, так внушил бы, наверно… Смертные муки я перенес – думал, что пропустил духов. Не пропустил – ты, Токио, освободил меня из объятий медведя. Как же это надумал – то Мельгайвач заехать к тебе и взять на свою добрую нарту?!

Старик помолчал, поковырял пальцем в трубке и продолжал:

– Мне утешение есть – люди хоть не осудят. Бог – то, конечно, все и без этого видел. Только утешение – то мое горше медвежьей желчи: к беде привязан, а избавлять от нее другие должны. И помогать – то теперь боюсь. А ну, как обратно введу ее в злость? Может, случится и хуже – как ты, Митрэй, говорил: спохватится – гостя нет, опять я один – и еще руки на себя наложит… Мельгайвач, ты, может, задержишься на день – другой? Я человек небогатый, но все, что ты потеряешь за эти дни, я восполню. Насчет этого не беспокойся…

Чукча бросил на старика непонятный взгляд, ничего не ответил и спокойно потянулся за куском холодного мяса. А Сайрэ настороженно, помолчал, подумал и еще раз попросил:

– Только бы поддержать здоровье ее… Дня на два остался бы, Мельгайвач?

– Хорошо, – подал голос Токио, – скажем, задержится он, легче ей станет. А что будет дальше?

– Лишь бы поправилась. А потом можно бы ее отпустить. Я согласен на все. Жалко ведь – молодая, красивая…

– Ну вот это уже настоящее сердце высказалось! – облегченно воскликнул Токио.

– Гык, отпустить! – вырвала изо рта трубку Тачана. – А куда же она пойдет? У нее что – свой тордох есть? Кто ей поставил, где он – покажите мне?

– Женщины, спит Пайпэ или не спит? – очень спокойно спросил Сайрэ, будто тетка ничего особенного не сказала. – Спит? Пусть спит, хорошо. Говорить надо бы тише… Пусть она у меня пока поживет – вместо дочери. Отдельный полог поставлю. Ей скажем правду: все мы хотели от духов ее уберечь, уберегли – а теперь она может жить, как захочет. Постараемся, так найдем ей молодого мужа. И добром кончится все. Ну, а мне от этого и в одиночестве помереть будет легче…

– Ага, найдем молодого мужа – красивого и оленного, тордох ей белый поставим, соберем с каждой семьи подарков… Это за что же ей благодать такая? – Тачана помолчала, а затем вдруг вскочила на колени. – Что – люди не знают, как через нее к нам пришли беды? – выкрикнула она. – Может, Хуларха понесет ей юколу, может, Нявал будет жерди тесать для ее тордоха?

Сайрэ не стал ей отвечать. Он упрямо сказал:

– Не умру, пока не увижу ее здоровой и пока жизнь она не начнет новую… На красоту такую мужик молодой найдется, болезнь ее не поганая… Мельгайвач, как решил? Скажи – чего зря молчать!

Чукча медленно дожевал мясо, спокойно пощупал свою косу с пуговкой на конце, потом сказал, остановив на старике пронзительный взгляд:

– Ты хочешь, чтоб люди увидели, что я доброе дело могу сделать только за выкуп? Нет. Я много снегов терпел от тебя унижения, когда считался шаманом, – теперь не хочу терпеть. – Он встал, вынул из – под кукашки шапку и стал пробираться к выходу.

Токио весь напрягся, завертелся, как дикий строптивый олень. Лицо его исказилось, оно выражало и злость, и презрение ко всему происходящему. Он сейчас был похож на разгневанного родового судью, какие бывают у чукчей, который понял виновность обоих спорящих, но не знает, как их наказать и какой выход найти.

А Мельгайвач тем временем стоял в затишке у тордоха и тоже метался, еще окончательно не решившись уехать. «Будь он проклят этот бубен! – разговаривал он сам с собой. – И зачем я стал в него бить! Всеми двумя руками и двумя ногами попался в капканы… Чужие люди залезают в душу, влюбленная сумасшедшая, подачка за ее мерзкие ласки… Гадко, выхода нет… – Мельгайвач почувствовал холодные полоски на лице и понял, что плачет. – Яма. В яму попал…»

– Запрягай! – услышал он голос Токио. – Ни за какими делами ко мне больше не приезжай. И я к Сайрэ никогда теперь не приеду. Ко злу обратили ум, а способности – на грубую корысть? Дураки. Вот и плачьте теперь кровяными слезами.

– Ты тоже не щадил нынче ни старика, ни меня, хотя видел, в какую беду мы попали.

– Ее беда – от вас. Я о невинной думал. А вы… Черт с вами. Запрягай. Теперь вам обоим сумасшедшая до самой смерти будет сниться.

– Зачем запрягать? – со вздохом сказал Мельгайвач. – Я уезжать не хотел: так вышел – подумать да старика попугать. Куда уж мне напускать важность! Под самую кручу скатился. Людям сказал, что ничего не возьму, а придется взять – не пустым же возвращаться к голодным женам? Скоро совсем безоленным стану.

– Гы, вот это мудро. Это – совсем другой разговор. Живешь среди оленей – нечего медведем реветь! – Токио повернулся, чтобы уйти, но добавил: – Ничего, порычишь, порычишь, а людскую беду понимать научишься. И еще каким жалостливым станешь…

– Да, теперь каждому легко меня учить, – безнадежно сказал Мельгайвач. Однако взъерошился: – Когда растоптали меня – и ты заговорил другим голосом. Что ж не нападал раньше?

– Добро всегда терпеливей зла, – ответил Токио, приблизив свое лицо к лицу человека, которого не так давно остерегался. – Об этом мне говорил перед смертью отец. И я ему

поклялся бороться только со злыми духами. А еще мне отец сказал, что терпение и у добра когда – нибудь кончится. И тогда сам бог придет людям на помощь…

Якут повернулся и быстро зашагал в тордох.

Возвращение Мельгайвача Сайрэ встретил спокойно – будто ничего другого и не могло случиться. Он выпрямился; лицо его было суровым, задумчивым. Отодвинувшись, чтоб Токио и Мельгайвач посвободней уселись, он уставился глазом в костер и замер, давая понять, что восторжествовавшее доброе дело не требует слов. Все молчали. Наконец Токио потянулся за чашкой и, ничего не сказав, выпил. Мельгайвач поморгал – поморгал – и тоже потянулся за чашкой. Он выпил, плюнул под доску, но закусывать принялся лишь после того, как старик Сайрэ тоже поднес ко рту чашку.

У всех троих были деревянные лица, и замерзшие люди, недолго пошушукавшись, начали осторожно приподниматься, тихо покидая тордох.

Постепенно ушли все, ушла и Тачана. Остался лишь Пурама, одиноко сидевший у самого полога. У охотника дел было, пожалуй, больше, чем у других, – после пурги наступит затишье, – самое время ходить по следам, а к охоте Пурама всегда готовился очень старательно. Однако сейчас он забыл обо всем и торчал, как высокий пенек, за спинами трех людей, молчаливо занятых едой и своими сложными мыслями.

Пурама чуть – чуть захмелел, и это придало смелости его любопытству. Мельгайвач вернулся… Что будет дальше? Он поест и уедет? Или останется? Он передумал, он пошел против своего слова, против своей правды, своей нужды? Ему Токио что – то внушил? А может, Сайрэ?..

– Я бы сейчас поспал, – услышал он голос чукчи. – И Токио бы поспал…

И Пурама смекнул, что он лишний, что им надо остаться одним. Нахлобучив шапку, он встал и с шумом вышел, выказав обиду за отчуждение.

На воле бесилась пурга. Охотник зло и размашисто шагал к своему тордоху. На полпути он остановился и оглянулся назад. Из онидигила тордоха Сайрэ ветер вырывал густой дым с искрами. «Сильней растопили очаг, говорить будут», – подумал он.

Подойдя к своему жилью, Пурама бессмысленно пошевелил одну нарту, прислоненную к тордоху, поплотней приставил другую, шагнул к третьей – и тут призадумался. Холодный ветер успел выдуть из его головы хмель. «Сайрэ… Вот тебе и Сайрэ! Вернул Мельгайвача. Захотел – и вернул… Хитрюгу этого. Забыл он, что ли, как в этом самом тордохе этот самый старик научил его купаться в крови?

Чертовщина какая… Не бога же Мельгайвач испугался – безбожник он… И людям сказал, что за подачку не будет делать добро. Ум потерял, наверно. Хотя чего же терять – никакая опасность ему не грозит. Я бы уехал… – Пурама шагнул было к двери, но опять остановился. – Что ж получается? Сайрэ по – своему делает? Что захочет, то делает? – И он вдруг вспомнил, как срамил при людях шамана, как радовался наконец представившейся возможности взять верх над этим сильным человеком и как хорошо, приятно было ему потом. Пережитое торжество сейчас как – то сразу покатилось вдаль, в темень, все уменьшаясь и уменьшаясь – будто летящие с крутой горы санки. – А вдруг он и мне не дал бы уехать? – пришла на ум Пураме тревожная мысль. – Да, задержал бы, наверно, – раз с Мельгайвачом справился. Чертовщина какая… Видно, он все же внушил ему ударить себя ножом…»

По спине Пурамы пробежал мороз – и мысли его как – то сами собой сделали очень крутой поворот. «А может, и правда все было так, как сказал Сайрэ? Может, тут Пайпэткэ ни при чем? Мельгайвач умен – и знал, что без бубна ему не прожить. Мог, ясно, что мог приехать за вдохновением, а Сайрэ только его подтолкнул… Да его и надо было подтолкнуть: сирайкан Мельгайвач…»

Пурама сделал десяток шагов, но повернул назад. «А теперь все оно складно выходит: что там ни говори, а бабенке своей ум он вернет… Гы, не пустил Мельгайвача! То – то он не

удивился, когда чукча вошел, и все они какие – то стали чудные. Да он же и Токио одолел. Чего это Мельгайвач про сон заговорил? И почему это все люди сразу ушли?..»

Много лет, с детства, Пурама верил шаманам, был первым прислужником их. И сейчас в его голову разом полезли воспоминания о чудесах, которые видел в разное время. Чтоб окончательно не сбиться с толку, он поскорее зашел в тордох. Но тут, рядом с женой, у очага, к нему пришло не успокоение, а злость, досада на самого себя. Выхвалялся перед народом умом, к шаманскому столу подскакивал, – а доброе дело сделал Сайрэ, и слава опять ему…

ГЛАВА 8

Совсем другие мысли мучили в это же время шамана Сайрэ. Он – то уж точно знал, что чукча вернулся вовсе не по его воле. Просто он одумался – не захотел обижать юкагиров и решил все – таки хоть что – нибудь привезти своим женам. Мысль промелькнула быстро: мешок – юколы да несколько шкурок отдать не жалко, но придется сделать подарок и Токио – и он сделает хороший подарок, только будь он проклят, этот шаманчик – выродок – не Мельгайвач, а сатана приволок его на берег Улуро!

Оправдаться перед людьми – это еще не значит оправдаться перед всевышним судьей и повелителем – богом. Если б так неожиданно не озлобился Токио, все бы кончилось сказочно хорошо. Сайрэ оставалось бы подыскать случай освободить Пайпэткэ, а это теперь облегчилось в тысячу раз – и во искупление всей вины перед богом сделать ей еще какое – то доброе дело. Вот и прожил бы он без страха остаток лет, и принял бы его бог к себе, и вернул бы его в средний мир в третьем поколении. Может быть, Сайрэ поступил бы как – нибудь по – другому, но только сам, один, без обещаний и постороннего любопытства. Токио заставил искупать вину на людях, искупать быстро да еще одним – единст – венным способом. Какие унижения он, старик, перенес сегодня, как смеялись ему в глаза при людском сборище, как ковыряли его живое мясо! И впереди то же самое, а разобраться, так еще более нестерпимое – он сам будет унижать себя: муж ищет для жены мужа, потому что стар и немощен телом – настолько немощен, что можно сойти с ума…

Мельгайвач и Токио спали рядом, подложив под голову хорошо мятые шкуры, подаренные Сайрэ за камлание, – а Сайрэ сидел у очага, курил трубку, смотрел в огонь, и выпитая горькая вода не мутила ему головы. Думал старик, курил и думал. Порывистый ветер налетал на тордох – и жерди каркаса скрипели, ровдуга стучала о них, как отсыревший бубен, а дым шарахался внутрь, повисая над головой старика клубящейся тучей… Ах, если б у чукчи была только одна жена, да если б он вдруг оценил любовь Пайпэткэ! Какие у него жены – дрянь, а не жены. И бросить их не грешно. Особенно младшую, с которой кто только из заезжих купцов не спал. И среднюю можно отдать Каке без жалости – она, говорят, так и липнет к нему, да она и сама теперь, наверно, ушла бы к чукотскому голове – от такой жизни…

Время шло, гости и жена беспробудно спали – и мысли шамана Сайрэ все упорней вертелись вокруг Мельгайвача и его жен. Старик припомнил все, что знал по слухам и неожиданно понял, почему еще так упорно думает только об этом. Да ведь вернувшийся из Халарчи Пурама сказал кому – то, что Мельгайвач совсем обеднел и будто бы поэтому хочет одну жену передать Каке! Сильно обрадовавшись, Сайрэ начал искать ходы. Ему, правда, сразу же стало ясно, что внушать Мельгайвачу ничего нельзя: такой ход бог не примет. Стало быть, надо по – человечески поговорить. А как?

Сайрэ не успел ничего придумать: спокойствие в тордохе нарушилось – из – за полога выбралась Пайпэткэ. Старик не повернулся к ней. Однако он умел «видеть» затылком. Вот Пайпэткэ бросила взгляд на него – и сейчас же повернула голову в сторону, туда, где спали гости. Она увидела Мельгайвача, насторожилась, потом засуетилась на месте, как будто раздумывая, что делать, – и вдруг быстро юркнула обратно, за полог. Сайрэ изо всех сил прислушался – и немедленно догадался, что она воровато расчесывает волосы. Сердце старика застучало сильней: со дня помешательства она даже слюни не вытирала.

И все совсем ожило кругом, когда Пайпэткэ опять выбралась из – за полога и решительно подошла к пуору. И только теперь Сайрэ украдкой взглянул на нее. Она искала еду – она не ела целых полсуток. Ее движения говорили о том, что сам бог гладит ее по голове. Пайпэткэ начала резать юколу.

– Надо бы оленины сварить – гости скоро проснутся, – осторожно сказал Сайрэ.

– Тачана приходила к нам? – вместо ответа спросила она. – Я ее голос сквозь сон слышала… А второй кто приехал? Вы горькую воду пили?

– Пили, ке, пили. – У Сайрэ неожиданно покатились слезы; он отвернулся. – Токио к нам приехал. И Мельгайвач. Дела у них к Курилю – не нашли в тундре, сюда завернули. – Сайрэ поднялся, взял котел и пошел наколоть льда.

В это время в дверях показалась легкая на помине Тачана. Сайрэ чуть не сплюнул. Дьявол ее принес!

Кто – кто, а Сайрэ хорошо знал Тачану. И сейчас он без ошибки понял, зачем она приковыляла к нему.

В годы молодости Тачаны юкагиры и чукчи кочевали вместе. А среди чукчей было много мужчин, искавших себе жен. Получилось так, что все люди Улуро оказались родственниками Тачаны, и она стала надеяться на жениха из чукчей. И вот тут – то она и узнала себе цену. Ее старание завлечь хоть какого – нибудь жениха походили на прихорашивание совы перед уткой. Чукчи отворачивались от нее. Маленькая, колченогая, с непомерно длинным лицом, она была еще и сплетницей. Годы шли, жених не находился – и тогда она вышла замуж за подслеповатого, тупоумного и безвольного юкагира Амунтэгэ, на которого вообще никто не смотрел. Замуж – то она вышла, но не успокоилась, затаив злобу на многих сверстниц. Потом эта злоба перешла на всех смазливых девушек и привлекательных женщин; она стала мстить им, как только могла. Косой Сайрэ помнит, как однажды она сказала ему, рассчитывая на поддержку: «Раз не одарил меня дух земли ростом и хорошим лицом, так я за это всех счастливых красавиц оплевывать буду». Но красавиц появлялось все больше, особенно от участившихся браков юкагиров с ламутами, – и понемногу шаманившая Тачана стала талдычить другие слова, которым в конце концов и сама начала верить: «Обличье мое – не наказание. В девках была – не понимала. Это – шаманское обличье».

Десять зим Тачана ждала тяжести в животе. Не дождалась. И тут она окончательно обозлилась и на красивых женщин, и на тех, у кого рождались дети – особенно, если ребенок оказывался здоровым и хорошеньким. Каких только сплетен она не распускала, каких гадостей не говорила! И в это же время Тачана принялась усиленно вызывать своих духов – она без конца колотила в бубен, прыгала, визжала. Добро, что Амунтэгэ все это сносил безропотно. Люди стали бояться ее глаз, ее слов, ее голоса. Наконец, вмешался Сайрэ: ей от рождения шла тридцатая зима, когда шаман сказал людям, что Тачана добилась своего и теперь обладает шаманской силой. Но только стала она шаманкой, как умерла ее соседка. А у соседки осталась девочка – Чирэмэде, будущая мать Халерхи. Тачана взяла к себе девочку – и сразу же поползли слухи, что бесплодная шаманка съела ее мать, чтобы обзавестись ребенком. Чирэмэде уже все понимала, и когда в эту же зиму умерла вторая женщина – сестра Амунтэгэ, у которой тоже осталась дочь, Пайпэткэ, Чирэмэде убежала от страшной старухи, поедающей матерей.

Амунтэгэ привел в свой тордох племянницу – сироту. Но это уже не обрадовало шаманку. Ужасные слухи о ней передавались от стойбища к стойбищу – и звон бубна из тордоха Амунтэгэ стал доноситься все реже и реже. Тачана испугалась. Шаманство ее оборачивалось людской ненавистью к ней. Примолкла она.

Сайрэ хорошо помнил те годы: тогда он очень боялся, что люди пересилят боязнь злых духов и разорвут шаманку. И он дал себе слово быть осторожным…

А дальше история с Тачаной была уже не шаманской историей. В отличие от тихой и простенькой девочки Чирэмэде, которую она успела полюбить сильно, по – матерински, Пайпэткэ оказалась красивенькой, да еще и проказливой. Бедная Пайпэткэ! Разве она была виновата, что родилась такой, что тетка боялась изливать злость на людей, а злости надо было вырываться наружу?.. Сайрэ видел, как по приказу жены Амунтэгэ долго и спокойно выстругивал и скручивал плетку, как дергалось от удовольствия морщинистое лицо Тачаны в ожидании счастья взять в руки плетку и как сверкала глазенками бедная девочка, предчувствуя жгучую боль…

…Разбивая култышкой оленьего рога лед, Сайрэ почувствовал, что руки его замерзают. И это оборвало его воспоминания. Да, он знает, зачем опять пришла Тачана. Знает, хорошо знает! Она хочет заступить Пайпэткэ дорогу, она не выдержит, если ей улыбнется счастье. Она тогда изойдет бешенством и не сможет ни есть, ни спать. Но она заступит дорогу не только ей, но и ему…

Когда Сайрэ вернулся в тордох, гости уже сидели на шкурах – подстилках и, настороженно наблюдая за Пайпэткэ, курили трубки.

– Хорошие сны, гости, видели? – назло Тачане добродушно осведомился Сайрэ. – Я крепко спал…

Токио и Мельгайвач закивали головами:

– Все хорошо – выспались…

– А у меня радость, – сообщил Сайрэ, – у дочки моей много дней голова болела, а нынче ей стало лучше. И от этого в тордохе стало светлей…

– Это какая ж она тебе дочь? – перекосила свое длинное лицо Тачана, рассевшаяся на самом видном месте, у очага. – Жена тебе она, а не дочь.

У Сайрэ лицо в момент сделалось таким же холодным, как окоченевшие руки. Все мысли выскочили из его головы. Только на языке само собой завертелось слово, которое не выражало и малой части нахлынувшего потом бешенства: «Живодерка. Не человек – живодерка…» Повесив котел на крюк – сускарал и опомнившись, Сайрэ, однако, нашел в себе силы не выдавать бешенства.

– Я мог бы дважды быть ей отцом. И потому должен бы называть ее не дочкой, а внучкой, – сказал он со вздохом. – Правда ведь, ке? Разве обижаются на добрую правду?

– Ох, какие ты речи заводишь, хайче! – укоризненно повертела головой Тачана. – Чудные речи. Подождал бы: гости только проснулись… Я вот зашла – и гляжу: жена твоя причесанная, со стола все убирает, а вон и оленину достала – варить да гостей привечать собирается. А ты не одумался, видно…

«Мерзавка. Хочет, чтоб она сумасшедшей осталась. С тем и пришла». И старик решил сразу заткнуть ей рот – чтоб она больше не лаяла и не мешала ему.

– Митрэй! – обратился он к Токио. – Ты во время камлания все говоришь людям? Или самое важное только?

– Все говорить – люди устанут слушать, – ответил якут.

– Я тоже так делаю. Но один раз в жизни я скрыл от людей важную весть… – Сайрэ повернул глаза на Тачану, как бы спрашивая ее – продолжать или нет. Старуха не знала, что творится в душе шамана, а догадки ее были не полными – и потому она приготовилась лезть на рога, надеясь лишь на семейную ссору. Она вызывающе подалась вперед. Сайрэ решительно повернулся к ней. – Думаешь, духам отца Мельгайвача было так просто разгадать тайну рождения юкагирского богатыря Ханидо? Какое у Пайпэткэ было тело, когда она оставляла следы? Может, ты вспомнишь, какое? Кровавое, чуть зажившее – вот какое. А била ее ты, кровь своего мужа била, а значит, и свою кровь…

– А я об этом сказал бы людям! – вмешался Токио. – Я бы сказал.

– Пожалел. И без этого люди были злы на нее. Но и теперь можно сказать. И бог простит меня, что я ей сейчас затыкаю рот… С плохим разговором ты пришла нынче ко мне, неродная теща. С плохим. И я могу тоже плохо закончить такой разговор. Да… Вот оно как…

– Господи! Духи земные и неземные! – хлопнула руками по своей впалой груди Тачана. – Да чего ж я плохого сказала? Тьфу, тьфу, тьфу… Не сказала я, не сказала. И в мыслях дурного не было ничего. Не было, не было, не было!

– Было!

– Хвалить свою дочь – это зло? Да ведь я перед ней виновата. Добро я ей делать должна?

– Хвалить Пайпэткэ нечего: гости и так не слепые и знают ее давно. Только твоя хвальба – хуже аркана. Мы все трое не паутиной сшиты, и перед нами вертеть языком, как вожжами, – дело пустое.

Старик зло бросил прутья в костер и направился к Токио и Мельгайвачу, не слушая больше шаманку, оторопело и униженно бормотавшую что – то невнятное.

Подсев к гостям, Сайрэ сразу приметил в глазах Мельгайвача что – то новое, никогда еще им не виденное. Чукча как – то слишком живо переводил взгляд с Пайпэткэ на Тачану, с Тачаны на него; вот он совсем уж подозрительно уставился на шамана Токио, будто впервые увидев его. Сайрэ насторожился, но, чтоб никто не заметил этого, стал вытаскивать из кармана засаленный до блеска кисет и трубку с сильно выгоревшим чубуком. Старику шаману догадаться было не трудно, что на Мельгайвача подействовала ссора. Как подействовала? Хорошо или плохо? Кукул его знает… Сперва Сайрэ подумал, что схватка с неродной ненавистницей матерью Пайпэткэ обернулась в его пользу: уж нашлепал – то он ее от всего сердца. Но он был слишком опытен, чтоб поверить первой догадке, тем более приятной догадке. С другой же стороны получалось совсем плохо. Мельгайвач плут и богатство нажил плутовством. И он вполне может подумать, что Сайрэ затеял какое – то новое и скорое дело, а потому и сорвался. Ведь так срывается человек, забывающий все на свете ради своей нужды. Уж не хочет ли великий шаман просто отделаться от сумасшедшей жены, сплавить ее поскорей?

Сайрэ знал, что в таких случаях надежней всего иметь в виду не хорошее, а плохое. И он сумрачно проговорил:

– Вот так я и живу, гости мои дорогие… На старости лет мне бы по силе – возможности делать людям добро да почести получать, а я вот барахтаюсь в семейных делах, как в сугробе. А получаю подзатыльники и пинки… – Сайрэ вздохнул, по – свойски потянулся к Мельгайвачу за трубкой, взял ее, наскреб сухой былинкой в свой чубук огоньку, затянулся, слезливо сощурился. – А почему так у меня вышло? Я расскажу вам случай. С Пурамой это было. Сами знаете – Пурама человек с десятью глазами, не то что я. Один раз увидел он оленя дикого и пошел на него. Олень далеко, место ровное. Подкрался на выстрел – и бултых в болото. Еле выкарабкался… Так и я. Под ноги себе не глядел. А оно вон, что у меня под ногами… Зря я вчера самому Пураме не напомнил об этом. А, ладно! Я привык уж сносить обиды… Но ты, Мельгайвач, теперь видишь, как сами люди на злое дело толкают? Даже родственники…

Чукча приподнял бровь:

– Родственники… Но родственницу ты решился одернуть, а меня тогда – нет.

«О себе думает», – заключил Сайрэ, а вслух сказал:

– Ох, Мельгайвач, не жалей. Ох, не жалей о той прежней жизни…

Сказал это старик и замолчал. Замолчал потому, что на язык ему налетела целая туча слов, потому что подвернулась возможность заговорить о самом главном. Но он был настороже и не хотел ошибаться.

Если бы знал шаман, какие мысли текли в голове чукчи!

После тяжелой дороги, после хорошей еды и выпивки Мельгайвач спал в тепле как убитый. А когда проснулся – голова его была светла и чиста, как голубой летний день. Увидев Пайпэткэ и поняв, что с ней как будто бы все хорошо, он закрыл глаза и, не поднимаясь, стал думать. Как бы сложилась теперь его жизнь, если бы он вдруг третьей женой взял ее? И Мельгайвачу показалось, что все было бы также плохо, а может быть, даже хуже. Он – то уж знал, о чем Пайпэткэ мечтала в те времена. С купцом Потончей она собиралась плыть к американцам, а с ним – с богатым шаманом – хотела ездить в Средне – Колымск, на ярмарки – чтобы видеть много разноязыких людей, покупать красивые вещи. Такие ее порывы напугали Мельгайвача. А тут еще ее красота, ее безудержная страсть… Да, он бы любил ее больше, чем других жен, потакал бы ей. Но сейчас, вот в такой жуткой беде и нужде она обернулась бы сатаной и не сама потеряла бы ум, а его лишила ума…

Обо всем этом чукча думал так, не всерьез, поневоле. Но если б даже об этих несерьезных мыслях мог догадаться Сайрэ!..

А потом пришла Тачана, и юкагирский шаман в сердцах сказал, что эта мерзкая старуха нещадно била сироту Пайпэткэ. И вот только тут Мельгайвач испытал какое – то страшное чувство, испытал первый раз в жизни. Ему вдруг стало тесно в одежде, а между тихой, молчаливой Пайпэткэ и ним появилось какое – то невидимое, но живое существо, которое ткнуло пальцем в его переносицу – и куда бы он ни поворачивал голову, палец этот не отставал от лица. Не знал Мельгайвач, не мог знать, что хрупкое тело молоденькой Пайпэткэ было тогда сплошной, чуть зажившей раной. Он обнимал это тело, гладил, мял, сдавливал – и было ему так хорошо…

Он еле скрыл от знавшего это все старика дрожь, пронизавшую спину.

С удивлением Мельгайвач уставился глазами в лицо якута – шамана: «Еще каким жалостливым станешь!» – вспомнил он слова Токио, сказанные перед сном. «Как он мог это узнать? И почему так быстро сбылось его предсказание?.. Может, они вдвоем околдовывают меня? Надо скорей уезжать…»

Не догадался Сайрэ и о пробудившейся в чукче жалости.

А между тем Пайпэткэ собрала на стол и подошла к мужчинам. Мельгайвач поглядел ей в лицо – и поспешил поймать за спиной косу, чтоб отвернуться, проверяя пуговку. Ух, какой же красивой стала Пайпэткэ за эти годы! Лицо округлилось, нос выровнялся, губы припухли, а сдвинутые брови похожи на крылья парящей птицы – замерли, но в любой миг могут вздрогнуть. Только маленькие глаза совсем уже не бегают, даже вроде притухли, как огонь под пеплом, – но ведь она уже женщина. И это все – после болезни, да еще одежда на ней – обноски покойной жены старика… Пайпэткэ ничего не сказала – только тронула за плечо мужа, развела руками, давая понять, что еда небогатая, – и поплелась к пуору.

Над Улуро гулял легкий верховой ветер. Снег успокоился – мягкой белой шкурой он лег на землю, словно прикрыв ее от мороза, который теперь усилится после пурги. А сейчас было тепло, бестревожно, уютно.

Умывшись снегом, Токио услышал ребячьи голоса на холме, за стойбищем, озорно насторожился, потом отряхнул руки и скорее зашел в тордох.

– Нет, не усижу! – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Пойду покатаюсь на санках. Дома теперь мне вроде нельзя: вторая жена…

– Сперва водочки выпьем, – охотно предложил Сайрэ, обрадовавшись возможности остаться наедине с Мельгайвачом и уже обдумывая, как выпроводить из тордоха вовсе уже лишнюю Тачану.

– Я думаю, поедим – и запрягать надо, – со вздохом сказал Мельгайвач, перекидывая кверху дном весь котел желаний и намерений обоих. – Пора. Пока тепло и тихо. А то затрещит на озере лед, да пурга начнется… Хайче Сайрэ, ты хорошо угощал, и вот опять хлопочет твоя жена. Спали в тепле, отдохнули, поговорили. Все хорошо обошлось – и ты доволен, и мы… Поедем Куриля искать, – чукча улыбнулся, давая понять Сайрэ, что он слышал его разговор с Пайпэткэ. – Не знаю, как Токио, а я, наверно, в эту зиму еще заеду. А по весне и ты бы заехал к нам в Халарчу… – Здесь Мельгайвач подмигнул: это он говорил для успокоения Пайпэткэ. – Вот так и начать бы нам жить в дружбе и уважении…

Они стояли друг против друга и украдкой поглядывали на Пайпэткэ, которая молча, будто ничего не слыша, убирала постель.

Кажется, пронесло: Пайпэткэ не вздрогнула, не насторожилась.

Мужчины помолчали, продолжая следить за ней, а потом почти разом вздохнули – Мельгайвач с облегчением, а Сайрэ тяжело. Вздохнув, старик потряс головой, опустил плечи, опустил голову. Все кончилось. Уговаривать Мельгайвача никакой возможности не было.

К столу уселись совсем чужими – каждый возвращался к своим делам, к своей жизни, к своей судьбе.

Перед тем как сесть, Сайрэ достал откуда – то плоскую бутылку с горькой водой, но на стол не поставил – замешкался, раздумчиво ощупывая ее.

– Не надо, хайче, – сказал Токио. – Побереги до другого раза…

А Мельгайвач уже ел. Он показывал, что спешит, хотя на уме – то у него было еще и другое – покрепче наесться: дорога дальняя, и в родной яранге оленя в честь его возвращения не зарежут… Сайрэ сел рядом с ним, неуверенно поставил бутылку и, не раскупорив ее, принялся за еду. Он отрезал кусок оленины, выложенной из котла прямо на доску, начал дуть на него и вдруг вскочил, что – то вспомнив. Мельгайвач не пошевелился: он знал, что хозяин забыл собрать подарок. «Пусть собирает, – подумал он, еще полней набивая рот мясом. – Довезем потихоньку».

Токио уже закурил трубку и наблюдал за Тачаной, которая тоже вертела в руках пустую трубку, зло поглядывая на Сайрэ, набивавшего рыбой мешок, – а Мельгайвач еще пил чай. Наконец он насытился, надел шапку и встал, чтобы идти к оленям. Но тут хозяин неожиданно повернулся к нему. Пайпэткэ, спокойно державшая край мешка, тревожно подняла голову. Ее маленькие глаза стали внимательными, колючими.

– Мельгайвач! – сказал Сайрэ, приближаясь к чукче. – Ты должен знать, когда и, как это случилось. – Лицо старика было решительным, напряженным – даже испорченный глаз приоткрылся, – Что случилось? – не понял гость.

– Ее сумасшествие. Первый раз это было в то утро, когда ты от меня уехал… Она не слушает шаманских разговоров, но спала она или не спала – а наш разговор о крови дошел до нее. Она поднялась и начала хохотать посреди тордоха. Она босиком вышла искать следы от твоих ног и твоей нарты. А ты помнишь, какой тогда был мороз…

– Это брехня! Ты выдумываешь! – Раскрасневшийся после чая, потный, Мельгайвач так тряхнул головой, что с лица отлетели в стороны капли пота.

– Нет! Так было. Вот тебе крест перед светлым богом. – Старик решительно перекрестился. – Она снова потеряет ум – я знаю. Знаю, что второй раз ты не приедешь ее спасать. А меня бог не простит, если я утаю что – нибудь.

– Гы! – вскочил на ноги Токио. – Что ж получается это? Ты, значит, все знал, а людям говорил другое?

– Не по – моему, а по – твоему, Митрэй, получается, – спокойно ответил Сайрэ. – Вы спали – а я сидел думал. И если сейчас моя правда не верная, то и твоя не верная. Потому как я твою правду признал и все по – другому увидел.

Якут отлетел, как колотушка от бубна.

– Тьфу! – в сердцах сплюнул он. – Запутали все! Запутались! Да ты женись на ней, Мельгайвач!

– Осатанели! Осатанели вы все! – подскочила к ним Тачана. Ее длинная голова вертелась на морщинистой шее, будто приделанная.

– Пусть сумасшедшей лучше останется? Так? Сумасшедшая – лучше? – напер на нее Токио. – Ну, если мать этого хочет, тогда дело другое. Тогда поехали, Мельгайвач…

Возбужденный, взъерошенный якут, однако, не сдвинулся с места. Его по – мальчишески злые глаза как – то вдруг сузились, похолодели, вроде бы спрятались далеко внутрь. Токио с удивлением обнаружил быструю и резкую перемену, происшедшую с юкагиркой и чукчей. Тачана ворочала языком, а слова у нее не получались, и глядела она на него уже мягко, угодливо; Мельгайвач побледнел и смотрел на него бессмысленно, будто постаревшая лайка, у которой нет никаких желаний. В последнее время Токио все чаще и чаще замечал подобные перемены в людях, когда он смотрел им в глаза и говорил неотступную правду или давал советы, которые казались ему единственно верными. Он давно знал, что умеет внушать, и это прежде

не удивляло его, потому что отец его был настоящим шаманом. Однако сталкиваясь с беспомощностью многих других шаманов и видя, как люди верят их глупым или корыстным советам, Токио усомнился и в своей силе, начал внимательнее следить за собой. Нет, ему верили и ему подчинялись совсем не так, как другим…

Пока Токио осмысливал происшедшее, Сайрэ переживал торжество. Он понимал, что гость шаман подавил волю Мельгайвача и старухи. Но ведь это сделал не он – сделал якут, а бог – то уже знает, что якут не друг ему и не угодник. А раз враги заодно, то дело их, стало быть, богоугодное.

Между тем Токио сообразил, что играет опасно, вмешиваясь сразу в судьбы стольких людей, – это снегов пять назад он не подумал бы о последствиях…

– Кукул бы вас всех сожрал! Решайте сами, – сказал он. – А я чаю попью и пойду кататься.

Он отошел к очагу и стал поправлять костер под чайником.

Сжав ладонью лоб и закрыв глаза, Мельгайвач покачнулся, но протянул другую руку, нащупал жердь и устоял на ногах. В голове его комариной тучей закувыркались мысли. Но сразу же среди них обрисовалась одна прямая и неподвижная, как жердь, возле которой крутятся комары: «Не так жил, не так жил. Я не так жил…» Придя в себя после головокружения, он всем своим нутром почувствовал, что мимо него пронеслась какая – то неведомая жизнь. В этом мире существовал человек, который был ему ближе отца, ближе брата и друга. Человек этот мог быть лишь живой половиной его самого – иначе как же так получилось, что он не слышал, как ухает от мороза лед, не видел бьющей в глаза пурги, забыл, что ноги босы, – но помнил о чьих – то следах?! Было наверняка и другое. И все это кончилось сумасшествием… Да разве такой человек скулил бы сейчас, когда его единожилец оказался в беде, ссорился бы и соглашался уйти в другую ярангу?!

Неужели человек этот женщина, неужели она здесь, рядом? Какая она? Мельгайвач открыл глаза – и испуг заставил его скорей отвернуться, искать взгляд шаманки, Токио, Сайрэ – кого угодно. Он даже не успел разглядеть эту новую Пайпэткэ – шевелящиеся ноздри ее, вытаращенные глаза, ее частое дыхание подсказали ему, что она сейчас или закричит нечеловеческим голосом или зачем – то метнется к нему… Но Токио ковырял головешки в костре, Сайрэ стоял спиной к Пайпэткэ, а Тачана подслеповато моргала, морщила лоб, блуждая в потемках своих отупевших мыслей.

Все молчали, и ничего не случалось. Мельгайвач глянул на Пайпэткэ еще раз – и обомлел от ее красоты. Неужели вот этими красными, как распухшая рана, губами она прижималась к его щекам, неужели эти маленькие, все понимающие, а потому и раскрытые широко глаза когда – то были рядом с его глазами и от страсти и счастья заволакивались туманом?.. Да нет, она вовсе не хочет метнуться к нему – она ненавидит старуху, его, старика Сайрэ, только не знает, какие слова сказать, каким голосом их сказать…

Медленно отвернувшись, Мельгайвач перевел взгляд на стол и почему – то остановил его на нераспечатанной бутылке с горькой водой. Сколько вот таких же бутылок он отшлепал ладонью по днищам за свою жизнь!.. Бутылки, бутылки, песцовые шкурки, клыки мамонтов, шкурки морских зверей… Потный, косматый, бессовестный Кака обнимается с младшей женой, какой – то купец спит со второй, а он – рядом со старшей, со старой… И счастлив. Дыхание тысяч оленей доносится до него сквозь ровдугу…

Далеко не всегда Сайрэ угадывал мысли людей. Но сейчас, наблюдая за чукчей, он мог бы точно пересказать его мысли.

– Эх, Мельгайвач… – сказал он со вздохом и тряся головой. – Ты постарел не от возраста и еще можешь помолодеть. Мне бы годы твои да любовь такой вот красавицы… В твои сорок лет настоящая охота к жизни только приходит… Что собираешься дальше делать? Трех жен не прокормишь, к работе они не приучены; оглянешься – и припасов никаких нет. А?.. У вас, у чукчей, насчет жен дурные привычки. И потому ты не знаешь цену любви и верности. Сломай

большую ярангу свою. Сломай – и так, и этак ее ломать. Только мук больше, если будешь тянуть да надеяться… Помню, Пайпэткэ дитем была еще – осень, холод, бывало, дождю конца нет, а она, мокрая вся, и ночью рыбу таскала с озера; оскользается, падает, рыбу роняет – но уж ни за что не заплачет… Да с такой работящей и с ее любовью к тебе ты к весне все беды свои забудешь! Даже удивишься, что счастьем считал дурную, богатую жизнь. Где любовь – там и лад. Детей народите, здоровые да веселые будете…

– Ой! Ой! – прервал речь старика негромкий голос, сразу отдаливший все разговоры. Пайпэткэ отпустила мешок – он упал, юкола рассыпалась; вцепившись пальцами в свое лицо, она дико расширила глаза, будто собираясь заорать на все стойбище. Ничего не понимая, мужчины повернулись к ней, и лица их вытянулись в ожидании. Только надолго оцепеневшая Тачана вдруг завертела длинной своей головой, точно нехороший крик Пайпэткэ возвратил ей разом и рассудок и бодрость… Но Пайпэткэ не закричала. Однако ее тихий и здоровый голос и сами слова ее оказались неожиданней истошного крика: – Иде Тачана, иде![63] Меня, меня муж отдает замуж… Да что ж ты молчишь? Свою жену он отдает другому – как варежку. Ой, стыд – то, стыд – то какой! Сам муж отдает замуж жену… Да когда ж было такое на юкагирской земле? – Пайпэткэ перешагнула через кучу юколы. – Нет, не пойду. Не пойду из тордоха!

– И не ходи! И я говорю – не ходи. Не пойдешь! – У будто подстегнутой вожжами Тачаны изо рта сразу выбилась белая пена. – Не пущу. Скличу людей – не пущу! Определилась судьба ее, определилась!

– Да погоди, Пайпэткэ, погоди, – залепетал Сайрэ, часто и напряженно моргая глазом. – Ты же сама хотела так… ты все время хотела… ты ребенка хочешь… А мы от болезни спасаем тебя, мы счастья и здоровья желаем тебе!

– Здоровье? А кому нужно мое здоровье? – подступила к нему Пайпэткэ. – И не хочу я ребенка. Ничего не хочу я! Жить я хочу? Нету мне счастья! С ребенком, без ребенка, с красивым мужем, с уродом, с богатым, с бедным – нету мне счастья, проклята я! И чего собрались вы, чего рвете меня на куски? Уйду, уйду от людей я, в норе буду жить, в лесу. К медведю уйду! Нет в тундре счастья! – Голос ее вдруг переломился, сделался мужским, хриплым, противным. – Отпустите меня, а то удавлюсь! – Она развела в стороны руки, будто мгновенно ослепнув и будто одновременно поняв, что надо скорее куда – то бежать.

И снова, как и сутки назад, Тачана быстро и ловко обхватила ее сзади руками. Опять началась борьба.

– Пусти, пусти, сатана! – кричала Пайпэткэ, скрипя зубами.

Мельгайвач поймал одну ее руку, поймал другую.

– И ты хватаешь меня? И ты? Звери, все звери! Голову мою хватайте, голову… У меня нет головы…

Токио громко стукнул кружкой по столу.

– Довели, опять довели! Ш-шаманами называются… – Он встал и пошел прямо на Пайпэткэ, вытаращив на нее глаза, – холодные и страшные, как два ружейных дула.

Якут мог бы схватить Пайпэткэ за локти, которыми она вертела изо всех сил, но он только упрямо смотрел ей в лицо, стараясь поймать ее взгляд. И он поймал его, а потом как – то быстро притянул к своему лицу. Сумасшедшая перестала вертеть локтями, и грубые путаные слова застряли у нее в горле.

– Сядь, Пайпэ, сядь, – спокойно, но твердо сказал якут. – Сюда сядь – на землю. Вот. Успокойся. Я один здесь великий шаман; это я хотел, чтобы ты к другому ушла. А теперь я не хочу. А они будут делать то, что захочу я… Отпусти ее, Тачана! – крикнул он. – Отпусти и иди в свой тордох. Сейчас, Пайпэ, Мельгайвач уедет. Плюнь на все разговоры. Мы с тобой

[63] Иде – тетка.

чаю попьем, ты отдохнешь, а потом пойдем кататься на санках. Слышишь – ребята кричат на горе? Ты хочешь кататься? Давно ты каталась?

Старик Сайрэ стоял под самой ровдугой. Он был похож на дряхлого горбуна, который пытается разглядеть звезды Хуораала[64] над головой. Руки его висели, как неживые, спина будто переломилась, а морщинистое лицо он выпятил вперед, широко раскрыв желтозубый рот. Зрячий глаз его не моргал. Старик увидел сотворенное шаманом – якутом чудо, но как раз перед этим рухнули все его надежды и все затеи.

Морозы все крепче брали над тундрой власть. Уже не возвращались теплые дни. Озера уснули под толстым льдом, а потом и лед засыпало снегом. С каждым днем солнце все ниже и ниже поднималось над горизонтом, пока наконец и оно не уснуло под белыми шкурами… Наступило самое тяжкое для жителей тундры время. Круглые сутки тьма – и морозы, морозы, морозы. Начнется пурга – станет немного теплей. Но куда же в пургу пойдешь или поедешь! А ехать или идти надо каждому здоровому мужику: зима длинная, припасов на долгие месяцы не заготовишь, и стоит побояться мороза – пропала семья. Голод беспощадней самого страшного холода. Голод – то и гонит юкагира, чукчу, ламута из стойбища, гонит на опасную и малоудачливую в потемках охоту. Обмораживая носы, щеки, пятки, сиротливо бродят по тундрам люди, без конца отгоняя жуткую мысль о гибели. Дома их ждут – ждут их шагов, их тяжкого от ноши дыхания… Это хорошо богачам да купцам: голод не стоит у них за спиной, а ехать на добрых оленях тепло одетым, сытым и пьяным, да еще не в одиночку, а цугом, с каюрами, можно в любой мороз и в любую пургу.

Шаманам тоже нет нужды выходить в тундру. Даже самый бедный из них всегда переживет и голод и холод, вовсе не подумав о том, что следовало бы самому сходить на охоту. Шаман – больше, чем человек. Поэтому он и не должен жить, как другие. Да разве он в состоянии сам прокормить и себя и своих духов, разве он сможет бороться со злом, питаясь, как смертные, или, хуже того, голодая?! И уж совсем нельзя допустить, чтоб шаман подвергал себя риску замерзнуть, попасть в лапы медведя, упасть с обрыва.

[64] Хуораал – Большая Медведица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.